

**urbi** ■

**ЛИТЕРАТУРНЫЙ АЛЬМАНАХ**

**33**

**1993**

Российский  
творческий  
союз  
работников  
культуры

Литературное  
агентство  
«Urbi»

Нижний  
Новгород  
1993

Литературный  
альманах  
№3

1993

Urbi 3

**Редакционная  
коллегия:**

Любовь Дервоедова  
Павел Калачев  
Кирилл Кобрин  
Марина Кулакова

№3 «Urbі» составлен  
Кириллом Кобриным

**Оформление:**  
Алексей Курьшев

**Компьютерный набор  
и верстка:**  
Сергей Золотарев  
Андрей Буланов

**Мы благодарим**

М. В. Сеславинского,  
С. Б. Подкара,  
Ю. Д. Буянова,  
Сергея Золотарева,  
Александра Фуфаева,

без которых бы  
этого номера не было.

**Почтовый адрес редакции:**  
603043, Н. Новгород,  
пр. Кирова, д. 4, кв. 9  
Кобрину Кириллу.

**Телефон редакции:**  
54-53-07 (Марина Кулакова).

**Тираж 100 экз.**

© Литературное агентство «Urbі», 1993

---

## СОДЕРЖАНИЕ

---

От редакции .....	5
Владимир Климычев. Два эссе .....	6
ЧАСОВОЙ .....	6
Я ХОЧУ ЗНАТЬ, КАК ПИШЕТ СВОИ РАССКАЗЫ ПЕТЕРБУРЖ- СКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ .....	6
Владимир Симонов. Рассказы .....	9
ЛУНГИН .....	9
ВЕЩИ .....	13
КРАНТЫ .....	17
Алексей Пурин. НИЖЕГОРОДСКИЕ АХИ (стихи) .....	24
Кирилл Кобрин. TO LOVE MORITUROS (эссе) .....	30
Валерий Хазин. РЭНДЗЮ (рассказ) .....	35
Игорь Померанцев. Эссе .....	52
ДО ВСТРЕЧИ В «САНТА-КРУС» .....	52
ЖИЗНЬ АНАТОМИИ .....	52
МУКИ ЛЮБВИ .....	53
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЭТА-ПЕСЕННИКА ЮЗА А. ....	54
ОБРАБОТКА КОЖИ .....	55
НЕВОСПОЛНИМЫЕ УТРАТЫ .....	56
Николай Кононов. PORNOLOGIA (стихи) .....	59
По поводу одной переписки (вступление, перевод с английского, коммента- ри и эссе Д. К. Хотова) .....	69
Письмо первое .....	69
Письмо второе .....	70
Комментарий к письму первому .....	72
Комментарий к письму второму .....	73
Жанр — «Борхес» .....	76

<b>Александр Кондратов. Из книги «ПРУЛИ (памятники русской литературы)» (стихи) .....</b>	<b>78</b>
<b>ИЗ ЦИКЛА «ПУШКИНОТЫ» .....</b>	<b>78</b>
<b>ИЗ ЦИКЛА «НЕКРАСКИ» .....</b>	<b>80</b>
<b>ИЗ ЦИКЛА «ГОРЬКИЕ МАКСИМКИ» .....</b>	<b>81</b>
<b>ИЗ ЦИКЛА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА» .....</b>	<b>82</b>
<b>ИЗ ЦИКЛА «ОТХОДНАЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» .....</b>	<b>83</b>
<b>Владимир Уфлянд. О КОНДРАТОВЕ (эссе) .....</b>	<b>84</b>
<b>Сергей Сигей. Стихи .....</b>	<b>86</b>
<b>Александр Покровский. Рассказы .....</b>	<b>88</b>
ПАРДОН .....	88
НА ТОРЦЕ .....	90
ЩЕЛЬ .....	91
РАЗНОС .....	91
ХАЙЛО .....	92
ПАРАД .....	95
ОФИЦЕРА МОЖНО .....	97
УЧЕНИЕ .....	98
ЦИКЛОП .....	100
Я ГОВОРЮ ВСЕМ .....	102
<b>Сергей Семенов. КАРТИНЫ БЕСТИАРИЯ (стихи) .....</b>	<b>103</b>
<b>Татьяна Гартман. ДВА РАССУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ (эссе) .....</b>	<b>110</b>
1. По поводу одной фразы. ....	110
2. По поводу одного названия. ....	110

---

## *От редакции*

---

Во-первых, мы поменяли «журнал для чтения» на «альманах», ибо какой мы журнал, когда мы альманах?

Во-вторых, мы не поменяли «Urbi» на «Urbi et Orbi» или хотя бы на «Urbi et...», хотя в номере третьем подобралась весьма разношерстная (в т. ч. и в рассуждении географии) компания авторов.

В-третьих, количество страниц выросло (даем шанс рецензентам очередной раз опровергнуть какой-то забытый закон марксо-гегелевой диалектики).

В-четвертых, по-прежнему, «никаких кампаний, свар и партий».

В-пятых, мы по-прежнему не без хулиганства.

В-шестых, мы сменили шитый вензелями камзол на строгую фракчную пару (см. оформление обложки).

## ЧАСОВОЙ

**В**споминается один детский рассказ писателя Леонида Пантелеева. Поздним вечером в почти опустевшем саду стоял и безутешно плакал маленький мальчик. Стоял он отнюдь не из праздности, а плакал — не со страха и не по причине жгучих угрызений совести; этот мальчик играл в войну и был часовым — условным стражем на гипотетическом, выдуманном посту в виде безобидной садовой будки. Мальчик и рад был бы уйти, да не мог, не сдержав своего честного слова, поступиться правилами игры — этой временной, не реальной, не всамделишной детской жизни. Так или иначе, но мнимая война давно закончилась, и вымысел уступил под неумолимым напором жизни настоящей, подлинной; «правила игры» сменились, а мальчик все стоял, понимая и что затея другими уже оставлена, и что его несправедливо и непредусмотрительно забыли. Стоял и тяготился своим собственным честным словом. Хорошо хоть писателю Леониду Пантелееву, сочинившему эту неправдоподобную историю, удалось отыскать где-то в загашниках своей писательской мастерской захудалого советского майора — отпустили «героя» домой. Нелепость, но я не об этом.

«Реки культуры текут по извилистым руслам» — возвестил в свое время Юрий Михайлович Лойтман. Текут, вихляя, и оставляют на поворотах бесчисленное множество «часовых» известного, по рассказу Леонида Пантелеева, свойства.

Как привить себе склонность к смене «правил игры»? Как воспитать тягу к благородно понятному искусству «меняться в поисках спасенья»? Да и вообще, где тот майор, что придет и отменит твое «честное слово»?

## Я ХОЧУ ЗНАТЬ, КАК ПИШЕТ СВОИ РАССКАЗЫ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА БЕЛЛА УЛАНОВСКАЯ

**А**ля того, чтобы знать, как пишет свои рассказы петербургская писательница Белла Улановская, нужно считать неоспоримым тот факт, что самый обыкновенный учебник русского языка может сослужить любому маститому и поднаторевшему в своем деле писателю весьма и весьма полезную службу.

Не простое дело для нынешнего писателя — обратиться к столь традиционной для всей русской литературы теме «маленького человека» и при этом с честью и достоинством пронести знамя своей собственной творческой инди-

видуальности и т. д., и т. п. сквозь известно что. Может быть, ради этого следует придать знаменитой шинели Акакия Акакиевича еще более жалкий вид? Или лучше с еще большим усердием возобновить переписку «бедных людей» Достоевского?

Ничего этого не нужно вовсе. А нужно, по примеру самой Беллы Улановской, взять обыкновенный учебник русского языка и, не побрезговав этим сомнительным для многих источником, попробовать именно с его помощью изобрести что-нибудь пусть и тривиальное, но зато «новое» и «свое».

Как раз в нем можно без особого труда найти, что для обозначения действия, «совершаемого в момент речи», применяется глагол в форме настоящего времени, а несовершенный вид глагола способен выгодно для автора растворить в себе временные пределы происходящего поступка или события: оно предстанет перед читателем во всей своей незавершенности, непрерывном течении и длительности, уходящим в необозримое будущее, в вечность. Говоря «Я хочу знать» что-либо, есть шанс продемонстрировать свою неизбывность и постоянную возобновляемость своего желания: «хочу знать» — это, по времени, не только сейчас, но и сегодня, и всегда. Пожалуй, имеет смысл уже в самом заглавии рассказа породнить это вечно волеизъявляющее и категоричное «Я хочу знать» с инфантильно-причудливыми интересами своего «маленького» героя или героини (по типу: «Я хочу знать, что чувствует пятиствольный дубняк», или: «Я хочу знать, согреется ли грустный Пьеро», или «Я хочу знать, доволен ли странствующий мастер дядя Вася хозяйками печей»). После этого можно со спокойной совестью положиться на грамматические свойства глаголов, вынесенных в заглавии рассказов: извечная и неустрашимая озабоченность, заложенная во всем том же «Я хочу знать», отождествляется с умышленной, утрированной и почти неестественной для литературы «мелкостью» самой темы, придает ей оттенок первостепенности, значимости, исключительности: «Я хочу знать, кто теперь идет за плугом» или «Я хочу знать, по-прежнему ли алольские девушки готовят одинаковые платья к выпускному вечеру». А если при этом еще и заставить каждое заглавие срикошетить и превратиться в начальную фразу того же самого рассказа, то и вовсе можно считать свою цель достигнутой: все случайное и малозначительное, разрастаясь и непомерно увеличиваясь в размерах прямо на глазах, приобретает жизненную важность и непреходящую ценность — новый «маленький человек», взятый вместе с со своей нескрываемой сущностью в непривычно крупном и невиданном доселе масштабе, выйдет из-под вашего пера. Он будет во многом разниться со своими знаменитыми литературными предками и открыто провозгласит о своем собственном статусе, более того — возведет его в рамки законного положения вещей, раздует до масштабов всеобщего миропорядка: «Да, я так живу, но так и надо жить!»

Не нужно бояться подыграть ему в этом и заменить, в отдельных случаях, примелькавшееся эгоцентрически-требовательное «Я хочу знать...» на универсальное «Что делать...» — без обрыдшего вопроса, но со значением

вездесущности, всеядности: «Что делать, если вы хотите приучить молодую собаку к выстрелу», «Что делать, если учительница спрашивает у вас совета», «Что делать, если вам придется заблудиться в знакомом месте» и т.д. (Заметьте, эта универсальность достигается не чем-то, а сказуемым, выраженным неопределенной формой глагола, а по-другому — инфинитивом, могущим обозначить действие, но не связывать его с каким-либо конкретным лицом.) Только таким путем можно наградить свою микроскопически-неприметную тему бытийным, вселенским звучанием, возвести ее в ранг мировых проблем: «Что делать, если вам придет в голову напугать лопарку» или : «Что делать, если именно через ваш дом проложен путь следования».

Мир «маленького человека», возведенный в степень всеобщей человеческой нормы и помноженный на минимализм самой Беллы Улановской — главное в ее рассказах.

Все это я к тому, чтобы вы не слишком пренебрегали учебниками родного языка — там наверняка осталось что-нибудь и для вас.

Лично я начну с правописания гласных после «Ч».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> См. название первого эссе.

ЛУНГИН

**Н**е надо было... Не надо! Да что уж теперь — поздно!» Ночью Лунгин несколько раз просыпался и вспоминал про должок. Странно, но чем меньше представлялась в мучительном душевном мельканье сумма долга, тем значительнее и страшнее она казалась. Лунгин ворочался на койке, которая была ему узка. Рука свешивалась, падала, и раздавался звон пустых потревоженных бутылок, которыми была заставлена вся комната — и под кроватями, и под столиками, и у дверей.

Но то было ночью, а сейчас — рано, непривычно рано утром — он сидел, потный, толстый, волосатый, все на той же койке и чуть не плакал от того, что застежка сандалии — коротенькое никелированное жальце — выскальзывало из пальцев, никак не хотело попадать в дырочку. За последнюю неделю в нем вообще откуда-то прорезалась эта слезливость: плакалось и от умиления над какой-нибудь ерундой, и от жалости и досады на себя, причем именно единство формы выражения, эти неожиданные, жаркие, непреодолимые слезы устанавливали родство между досадой и умилением. Жаль, не было жены. Она всегда приходила на помощь в таких затруднениях, отстраняя Лунгина, говорила: «Дай!» — и все, порядок.

Справившись, наконец, с сандалией, он встал и тут же снова сел от слабости. В комнате было тесно и жарко. Солнце заходило сюда рано, и, когда они еще жили с Мишкой, приходилось на ночь занавешивать окно простыней, а на рассвете настежь открывать дверь, положив камушек. Клетушка с лаконичной обстановкой: две койки и стол — в своей безысходности воспринималась как закономерный результат, и в то же время было в ней что-то обжитое, свое, успокоительное. Кстати, успокоительное — хрустящие, как мушиные трупики, пустые, с выдавленными таблетками валялись на столе. Ночью, нашарив вслепую, проглотил, не запивая, две последние. Да, клетушка, клеть, и он в ней — жирный, волосатый петух.

Жарко было снаружи, равно и внутри, где беспомощно стучало сердце. И еще над столиком висела картина — разливистая снежная дорога, заснеженные деревья и куст, тройка вдали, скачущая навстречу зрителю и надо всем этим — голубое, с морозными краями небо. По стеклу ползала муха, и Лунгину захотелось разбить стекло, протиснуться через осколки в тесную раму, зарыться в сугроб, встать, голому, раскинув руки, на дороге перед тройкой. Он встал, задел бутылку, и та, неловко ударившись о ножку кровати, разбилась. «Бегемот в посудной лавке. Еще тогда знали, что говорили. У, злые птицы!..» Ах, это балетное, балетное! Как он всегда завидовал балерунам, когда они вы-

махивали из-за кулис и начинали порхать по сцене, легко и мускулисто отгалкиваясь от пыльных досок, вытягивая длинные ноги с двумя могучими картофелинами между могучих ляжек. «Хорошо, но если нести — в чем?..»

«Да и вообще — сдавать или нет? А может, просто плюнуть на все и оставить в оплату должка?» За что было недодано — он не помнил: за свет или за то же вино, которое они иногда вечером, когда кончались припасы, брали у хозяйки — но состояние жуткой нерешительности: сдать и рассчитаться или просто оставить бутылки, что было стыдно, — нерешительность эта мучила больше, чем страх спуститься по шаткой узкой лесенке во двор, встретиться там с Елизаветой Павловной, которая последние дни все почему-то прятала глаза, больше чем мерзкий, тошнотворный шум моря. В таких случаях Владелец Баллантрэ, валявшийся с закладкой на полу рядом со стаканом и уже успевший покрыться здешней, особой мучнистой пылью, бросал жребий. Лунгин беспомощно подумал было бросить монетку. Но денег не было. Ни копейки. Еще вчера была десятка, но и от нее осталось — фьюить!

Впервые в жизни Лунин нашел деньги на улице, причем не двушку и не двугривенник, а именно — сумму. Десятирублевая бумажка валялась прямо под ногами, но заметил он ее, только когда, допивая кружку пива (последнюю, как он рассчитывал) и дожевывая самый дешевый бутерброд, стал озираться в поисках урны — остатки приличий, за которые он свято держался. Осторожно и тяжело дыша, он наступил на червонец, подождал, пока уйдут двое местных спорщиков, а продавщица отвернется разбавлять вино. Кстати, с Мишкой они сюда ни разу не заходили, хотя местечко приютилось совсем недалеко от водопада и монастыря и — в большой тени старых эвкалиптов — здесь было величественно и безлюдно.

Мишка младенчески верил, что все на свете продается и покупается, и всей газетной брехне. Встретились они («Такая удача! Такая редкая удача!» — подумалось тогда) у хинкальни, где накануне Лунгин оставил зонтик. Официантка стала говорить, что да, мол, нашли вчера одну вещь, но что просто так получить нельзя, потому что вещь может быть не та или хозяин не тот и уборщица, которая нашла, — бессловесная уборщица явилась с выражением лица, — бедная женщина. «Просит магарыч», — сказал Лунгин. «Маргарин? — переспросил Мишка. — А, это у них так называется?» Он был глуховат, и это делало его еще более импозантным: волнистая шевелюра, золотой зуб, хотя в училище его звали «ссунок» из-за какой-то странной, в решающие минуты неуверенности, робости. Еще он прихрамывал — поломал ногу во время футбола. А потом он пришел как-то утром в клетушку Лунгина с женой. Они жили в санатории и называли себя «санаты», а поскольку пляж у Лунгина начинался прямо за калиткой, стали приходить все чаще и жизнь их, уже втроем, постепенно превратилась в комическую немую ленту, где непоследовательно всплывали то гадюшник напротив чебуречной, где подавали холодные шашлыки на коротких алюминиевых шампурах, то Мишкина физиономия в маске и с крабом в кулаке, то собаки у «Ветерка», встречавшие нашу троицу уже как

своих. И вот теперь настал день отъезда, и он сидел один в своей клетухе, а море шумело, мутное и мугорное, как море выпитого ими сухого. Первой неожиданно уехала жена, да и жена ли это была, — во всяком случае, когда еще в начале он пробовал захаживать в санаторий, дверь их комнаты была всегда одинаково заперта. А позавчера улетел и сам Мишка, оставив его, Лунгина, одного «со всеми онерами» да вдобавок заразив этим своим нелепым выражением.

В волосах запутались, вдвоено жужжа, мухи. Он с гадливостью смахнул их и прихрустнул сандалией, еще совокупляющихся. Слава богу, в тюбике еще оставалась паста и, обмотавшись полотенцем, он стал осторожно спускаться по лестнице, ломая голову, впрочем она и без того разламывалась, над тем, сдавать или не сдавать — уж очень пугала перспектива позорного шествия с пустыми бутылками через город, где отдыхающим полагалось только тратиться и брататься. А сам пункт — презренное, залитое окошко в углу базара!

Из-за отъезда пришлось встать много раньше обычного, и теперь он видел во дворе людей, доселе невиданных, скажем, хозяина (узнал он его по безошибочному описанию хозяйки), стоявшего у беседки, и, задрав голову, кричавшего что-то вверх, словно обращаясь к сидящему на большой яблоне или парящему над ней; а соседка, которую он раньше встречал исключительно на дорожке от беседки к туалету, теперь выходила из ведущей на пляж калитки, в голубых, до подколенок завернутых штанах, ведя за руку мальчика со спасательным кругом через плечо — сына? «Что-то вы сегодня не по расписанию!» — вывернулась наконец и сама хозяйка, и Лунгина снова неприятно поразила в себе почти ненависть к этой хлопотливой старухе в темном, почти ненависть, которую он испытывал с появления Мишки. «Добрый день, Елизавета Павловна,» — стараясь не заикаться, но все же заикаясь, и он отчетливо увидел себя со стороны, свою судорожно скошенную вниз и набок бородастую нижнюю челюсть — прием, которому еще обучал его ортодонт, то есть ортопед, то есть логопед... наконец-то! Заикаясь, он одновременно закрывал глаза. А можно ведь и вообще забыть про должок... Нет, не отдавать невозможно, к тому же — белье, проголодать до Ленинграда он еще сможет, но вещь проводница обязательно заставит взять белье. А сколько оно может стоить?! К счастью, хозяйка шмыгнула в погреб, а это — надолго, и теперь можно, нужно было идти.

Всего получилось рюкзак и две большие кошелки. Одну бутылку, из-под «Кахети», которая никак нежелала влезать, он, спускаясь, засунул в висевшую под крышей соседскую ласту. Пусть потом гадают. Он ни при чем. Солнце пекло невыносимо, и то, что обе руки заняты, делало Лунгина особенно беззащитным. Ветер нес к морю белые, седые пряди отцветшей колючки. Само море, все еще мутное у берега, волновалось, неся желто-серую мокроту пены. На мостике, обдав выхлопом пыли, прижал к перилам автобус, закружилась голова, и в Лунгина, холодом обхватив сердце, вошло ощущение криволинейности пространства — зыбкого моря, петляющей дороги, гор, зеленых с пле-

шинами, по которым скользили тени облаков, словно невидимая ладонь, тень ладони гладила их старые хребты, и Лунгин позавидовал горам. А ведь в первое время, когда он только приехал, только улеглась первая купально-загоральная лихорадка, все было не так. Изменился сам способ употребления жизни. Раньше он наблюдал: прислушивался, как галлят в соседнем дворе армяне, как ведет себя море, а потом ему снились длинные, связные сны, в которых так бережно воскресали все и вся явь населяющие, что можно было поверять эти половинки одну другой. И Лунгин, чувствуя, как врезается в ладонь сетка, скорбно думал о совершенно незаметно произошедшей потере качества и удивлялся, как это на все раньше хватало сил. Оставалось надеяться на подачки, и вчера, когда он лежал на пляже, со зла залпом выпив бутылку сухого, не легче не становилось и только боль подкатывала к сердцу при ухающем звуке волны, он заметил рядом с армянами красавицу в кружевной засахаренной шляпке, какие носили столетия назад, и лицо ее, с косой темной челкой и родинками, показалось навсегда знакомым, и, бог ты мой, чего только она ни вытворяла со своей шляпкой, то делая вид, что хочет зашвырнуть ее в море, то, примеряя на своего кавалера, к которому у Лунгина даже не было сил ревновать.

Пункт был закрыт, и это тоже походило на издевательскую прихоть судьбы, но хотя Лунгину и пришлось тащиться со своей ношей на виду у всего базара, а не шествовать царственно обладателем восемнадцати рублей пятидесяти копеек, ему стало легче. Хозяйка появилась из погребца, как «deus ex machina». «Так вы и оставьте. Я сдам — и мы в расчете. А сдачу я сейчас, вы выставляйте.» Слава богу, хватило достоинства забыть про бутылку в лапте.

На вокзал Лунгин пришел в начале двенадцатого. Поезд отходил еще не скоро, и времени было достаточно, но оно было ему не нужно. Здание вокзала выглядело такой сугубой недвижимостью, что не верилось, что кто-то куда-то мог отсюда уезжать. Однако какое-то движение наблюдалось: понемногу подтягивались люди с чемоданами и этими — Лунгин никогда не знал, как они называются — одним словом, такими сколоченными из узких планок, в щели между которыми тесно торчали персики, яблоки, сливы. Войдя в прочную тень вокзального строения, он помотал головой, выбрал одну из двух скамеек, симметрично пустовавших перед аркой. Уборщица в косынке, удаляясь, увозила урну с мусором. Лунгин тяжело опустился на скамью, поставил рядом вещи. Он выпил пива у базара, но стало только еще тревожнее, и все так же саднила натертая сандалией пятка. Стоило только подняться по ступеням под аркой и, миновав площадку, где кассы, спуститься — и окажешься на оборотной стороне медали, где другая жизнь, где сидят, пьют кофе и ничего не ждут люди в белых носках. На запасных путях стояли вперемешку расцепленные вагоны, и, глядя на них, опять же было трудно поверить, что они могут увезти его, Лунгина, далеко, и, пусть не сегодня, но, скажем, послезавтра к вечеру он увидит лоснящиеся дождем мостовые.

С бельем разобрались, и Лунгин вернулся в купе, неся стопку простынь с

жирными черными метками. Поезд продвигался медленно из-за бесконечных остановок, пережиданий встречных составов. Особенно мучительно долго стояли сразу после Дагомыса, в длиннейшем туннеле. Лунгин вышел в коридор, облокотился на спущенную раму. Сырой, могильный мрак, и вновь холодно защемило сердце, и еще неизвестно, дотянул бы он до того момента, когда поезд снова выкатит на жаркий, душный, но свет, если бы не участливая девочка, стоявшая у соседнего окна и никак не хотевшая возвращаться в купе, откуда ее звали. «Не хочу!» В попутчики Лунгину достались незначительный старик да парочка родственно схожих молодых людей, без передышки игравших в слова, причем старший подыгрывал, придумывая слова, которых нет, но легкие, и тогда тот, что помладше, хищно набрасываясь на него, хохочущего: «мол, нет такого!..»

Опять встали. Место было открытое, ровное. Вдалеке виднелся городок — трубы и месиво построек, окутанных дымом. Пассажиры, уже привыкшие к долгим остановкам, стали выбираться на разминку. «Двадцать минут!» — отчетливо выговорила проводница, и Лунгин тоже спустился походить, поразмяться. Девочка из соседнего купе бежала с бадминтонными ракетками. Унылое место. Желтоватый дым подтягивался к поезду и к беспечно играющим в бадминтон и закусьвающим на замусоренной жухлой траве. Сплющенные жестянки, обрывки газет, битое стекло валялись здесь и там, летели над всей равниной белые, седые пряди отцветшей колючки, и, когда раздался хриплый высокий гудок, и поезд тронулся, и все, побросав бадминтон, бросились к вагонам, Лунгин почувствовал, что ноги у него прирастают к земле и ему ни за что не успеть, потому что поезд действительно тронулся: тяжело мелькнул вагон с белой табличкой: «Сухуми — Ленинград», и, одновременно окончательно проснувшись, Лунгин увидел в конце уже пустой платформы, с двумя махавшими вслед фигурами, белоснежную шляпку и ее обладательницу, под руку с кавалером, и с ужасом ощутил, как на него нисходит блаженство — праздник из тех, что встречают молча.

## ВЕЩИ

«... чтобы быть похожим на батьку Махно, длинных волос — мало.» Вот как надо было ответить! Нестор Иванович. Задавить эрудицией. Гуляй Поле: выжженное зноем село, пьяное воинство (а пили они? или, может, строжайший сухой закон?), курицы, смерть на задворках — старик еврей, которого хотят зарезать, и он это понимает... — и в неприметной мазанке — сам: «Любо, братцы, любо — Любо, братцы, жить!..» — поэма. Интересно, почувял он, что потревожили его тень — тень скромного парижского сапожника?.. Вчера читал статью в газете на улице. Почему они всегда так привлекают, эти кровопийцы? А я и есть батька Махно! Вот как надо было ответить.

Лена позвонила вчера и попросила забрать из больницы Витины вещи. Пришлось отпрашиваться у Тамары Ивановны.

Проснулся рано: яркое солнце пробивалось даже сквозь плотно задернутые занавески и успело разбудить все в комнате. Но солнце солнцем, и я, может, еще уснул бы, если бы подлец кот не начал снова разрывать фикус. Кот мне достался в наследство, от знакомых, посчитавших, что в Америке он будет для них обузой. Тогда он еще был котенком, серым, с полосками и умильными глазами, но за год вырос и превратился в дворового наглеца, каких много — длинномордого, тощего и все что-то дравшего, рывшего. Фикус достался мне как память о теще, когда мы делились с женой. И это при том, что и котов, и фикусы я терпеть не могу. Но котенка было просто жаль, а фикус я взял не только потому, что, когда жена предложила его взять, показалось, что она издевается, и я решил назло: а вот и возьму! — но и потому, что втайне хотелось хоть что-то сохранить от нашего, на честном слове державшегося брака, пусть даже такую погребальную тавтологию, как эта большая зеленая кадка с большим зеленым фикусом. Я шугнул кота и лежал, глядя, как свет стекает с невозмутимых лаковых листьев, и вспоминал Вито.

С другой стороны, хорошо, что рано встал: не опоздаю и легче будет отпрашиваться. Да и бабки еще спали, а поскольку я очень знал, что не мил, то с легким сердцем вышел на пустую кухню — ставить чайник. Вернувшись в комнату, я увидел, что кот опять принялся за свое и под фикусом лежит кучка свеженарытой рыхлой, влажной земли.

На работе уже успело что-то произойти, хотя шло только утро понедельника, а в пятницу до самого конца дня ничто не предвещало грозы. Тамара Ивановна сидела вполоненная, вытянув напряженную шею, и густо накрашенные глаза ее были широко, как у куклы, раскрыты.

Едва я вошел, как за мной вошел Гена, подправляя очки и пошатываясь. Он всегда пошатывался, когда волновался. «Да что это такое! Да какое вы имеете право!» — начал он еще в дверях, тихо и яростно.

Мне не хотелось говорить Тамаре, куда я иду, и, прислушиваясь к ее непонятной пикировке с Геной, я оцепенело думал, какой бы выдумать предлог. На столе, в том порядке, в каком я оставил их в пятницу, покоились: скрепкошшиватель, папки, облепленный скрепками магнит, многозначительная резинка на чистом листе бумаги. Чтобы отметитья, я наугад взял папку, расшнуровал, стал листать.

«Вот так ему и скажите!» — последнее слово осталось за Тамарой. Гена вышел, тихо хлопнув дверью. Тамара повернулась ко мне: «Вы о чем-то хотели?..» Я понял, что мне ничего не придумать, и, промямлив что-то и вернув свое хозяйство в первоначально нетронутый вид, пошел на выход. Тамара презрительно поглядела мне вслед.

В коридоре у черной лестницы стояла Лидия Ивановна с Маричевым, плешивым, из планового отдела, и, вкладывая в каждое слово застарелую симпа-

тию — такую, что, даже случайно столкнувшись, они никак не могли разми- нуться, — говорила: «Лечит руками аллергию, боли...» Маричев открыл было рот, но Лидия Ивановна порывисто, ласково перебила: «И знаете, действительно помогает!»

На остановке у Дома книги я застрял. Свободных скамеек в сквере перед собором не было. Сидели тесно, подставляя лица солнцу и жмурились.

Хлопчик, наверное, решил, что я обиделся. Он не уходил и топтался сбоку, потный, борщеватый и до жалости неотвязный. Мне тоже было досадно, что не получилось веселого, легкого разговора, когда он, с виду похожий на при- езжего, ищущего дорогу в Эрмитаж, вдруг подошел ко мне: «Извиняюсь, вы так похожи на батьку Махно...» — а я нет чтобы отшутиться — задергался, напрягся.

Солнце лучилось в кофейной глади цоколя. Вдоль цоколя стояли спекулян- ты с книжками в руках и полураскрытыми баулами, переговаривались с поку- пателями, налетавшими стайками, как воробы. «Я извиняюсь, — сказал хлопчик, снова приблизившись и тяжело, покаянно дыша, — моя фамилия Махиня, так меня ж ребята все в школе батькой Махно дразнили. А вы похожи...»

Держаться было не за что — руки намертво прижаты по швам, и при каждом новом толчке я то наваливался на тетку, отворачивая лицо, чтобы не въехать ей в губы, проникаясь ее горячими грудями и животом, то беспомощ- но откидывался назад, на что-то неподатливое, мускулистое, больно врезав- шееся в икры. Было так душно и тесно, что никто даже не ругался.

Светофор на Желябова. Светофор на Герцена. Скрипучий поворот — так, наверное, вправляют кости, — и мне удалось высвободить руку и ухватиться за поручень. Поручень был скользкий и горячий, противный, но, держась за не- го, я чувствовал себя устойчиво и почти человеком. На Гоголя много вышло. Село тоже много, но стало свободней. На углу Горюховой автобус снова застрял в нервно гудящей, фыркающей пробке. Одним глазом — красный, желтый, зеленый. Снова красный, а мы все стоим, и я знал, что если посмотрю в окно, то, как и тогда, увижу серую мраморную кладбищенскую доску, глася- щую, что-де родился в Воткинском Заводе, а помре такого-то года в этом вот самом доме. И, как и тогда, где-то глубоко внутри, но очень явственно проре- жется не тающий холодок, и я передерну, передернул плечами и услышу, как звякнут, как звякнули в негнущейся от мороза сумке ножи и вилки — посуда, которую я отвозил Лене накануне похорон. Первый раз я ехал к ним на Поро- ховые, и казалось, что не доеду никогда. Водитель объявлял остановки, каких не бывает: завод жэбзи, энтузиастов, по требованию. Не голос, а мерзлое же- лезо; лизнешь — прилипнет намертво. В окне задней площадки ничего было не разглядеть, кроме провалов полной темноты и серого, теряющегося в тем- ноте снега. То вдруг выступали корпуса домов, то есть самих домов не было

видно, только окна разрозненно горели в темноте, как общежитие вечности, как скопище душ, побросавших свои одежды. Парадная была огромная, с двумя лифтами — то ли бункер, то ли дансинг, где оттанцевали и погасили свет. Лена открыла: «Проходи». Я разделся и пошел. «Нет, не сюда. Сюда». Зашли на кухню, тесную, двоим не развернуться. Лена держалась как обычно. Она вообще была человек ровный, как ровная серая челка над ее невысоким сосредоточенным лбом, но сейчас к этой ровности добавилось новое, притаившееся выражение. И такой у нее был негромкий, спокойный голос, что мучительно хотелось что-нибудь для нее сделать, но я не знал что, и молча, негнуцимися пальцами стал выкладывать на стол ножи и вилки с пластмассовыми черенками.

Когда я подъехал к Театральной, я забеспокоился: успею ли? Часы над входом в Кировский показывали сумасшедшее время. Спрашивать не хотелось, но, к счастью, у соседки слева, уцепившейся за кожаную петлю, блеснул на гладком загорелом запястье браслет с цифирками и бойкой секундной стрелкой. Половина. Успеваю. Кажется, до двенадцати выдают. А доску я заметил и запомнил по дороге в больницу. Тогда тоже долго стояли на перекрестке, и доска была вся в сером инее. Народу пришло много. Стены морга до половины были выкрашены в холодный цвет. Витю я сначала не узнал, так он изменился, так осунулся, и лицо стало, как у французского артиста, а ведь в последнее время он сильно растолстел, этаким толстым мотылек, когда заходил ко мне ненадолго месяц назад, и с явной сединой: «Совершенно стал белый дедушка.» Выходя из дому, я накутался как мог, но ледышка внутри не таяла. «Обратите внимание, — говорили стены. — Обратите внимание.»

Комья мерзлой земли желтели на снегу. Только могильщикам было жарко. Нет, не жарко. Нормально. Они стояли, спершись на лопаты, на высоком бруствере возле ямы. После кафедры, на сборах под Петрозаводском мы тоже рыли индивидуальные окопы. Пузыри вздувались и лопались на ладонях, но через положенный час удавалось выкопать только неглубокую, неправильной формы, жалкую ямку. Рядом, через дорогу, в березках еще рыли. Родственники топтались, кто-то курил в стороне, но о чем они говорили было не слышно, только звякали о камни лопаты. Все, вблизи и вдали, было в тонком инее. Дохнул кто-то — и все застыло, белое, резное. Быстро открыли — попрощаться. Лицо было уже другое — растрясло, пока ехали. Стали опускаться, а мне все так же виделось все со стороны: провожающие, сгрудившиеся на краю в одно большое, темное, многоликое тело, и сердце мое не двинулось — осталось докуривать там, где мы виделись в последний раз и где я чаще всего у них бывал — в доме на Синопской, — и где мы курили на лестнице, запихивая окурки в коробок, как жуков. Поставили ванну, воткнули крест. Старший, очень вежливый, подскочил, подрубил цветы лопатой: «У вас много, поразберут,» — и ловко понатыкал их: красное-белое, красное-белое.

А потом все пошло как полагается: кстати и некстати вспоминал, заезжал к

Лене и запоздало жалел, что так и не отдал пятерку.

Апрель высунулся на площадь Репина, и было здесь ветрено, зелено. Подвезли к общежитию бочку с сухим, и небо над заводом уплывало в залив.

Дом живописца, поставленный на ремонт и наполовину выпотрошенный, был опоясан дощатым тоннельчиком. Доски прогибались, скрипели. Кто-то разлил краску, кто-то, не заметив, наступил, и через улицу, через трамвайные пути тянулась цепочка сердитых голубых следов. Рыбак стоял у моста, а рядом двое школьников, свесившись через решетку, плевали в воду.

Переходя мост, я, как на человека, бросил быстрый взгляд на красно-бурое, тяжелое здание больницы. От колонки за углом пронзительно и свежо пахло бензином.

За первой дверью, куда я сунулся, дюжий парень в белом халате распаковывал какие-то коробки. Дверь рядом была открыта. В комнате, у самой двери сидела очередь, а в глубине, у стола, разговаривали сестры. Одна держала в руке телефонную трубку и то говорила что-то в телефон, то, оторвавшись, продолжала разговор с подругой.

Переложив из руки в руку большую, специально захваченную сумку, я двинулся вперед. «Эй, куда! Тут очередь, за мной будете!» — всполошилась сидевшая с краю старуха. «Да ему, может, не за тем надо!» — неожиданно вмешалась женщина в перстнях, сидевшая ближе к столу и нервно перебиравшая пальцами. Сестры вопросительно обернулись. Я почувствовал, что настал мой час. «Девушка,» — сказал я, и голос у меня пресекся. «Девушка!» — начал я опять, громко чеканя слова — так, чтобы слышала очередь и эта старуха, чтобы слышали все: «Я приехал за вещами. Мне звонили.» Сестра положила трубку и мгновенно изменившимся голосом крикнула в соседнюю комнату за занавеской: «Валя! Валя! Как ваша фамилия?»

Стараясь унять гордую дрожь, я прошел за Валею мимо очереди. Повозившись с ключами, она отперла небольшую дверь. В кладовке было душно. За полуподвальным — горбушкой — окном виднелся прижавшийся к асфальту обрывок улицы. «Держите, вот, а то никто не забирает, не знаем, куда девать... Вот пальто, ботинки,» — тараторила Валя, такая вежливая, такая предупредительная, что плакать хотелось. «Давайте помогу.» Шапка не лезла.

## КРАНТЫ

**О**н снова подумал о пустырьнике. Слова как въехали друг в друга, как вчера этот «жигуль» и «рафик» на углу у общаги, впилились — жуть! Бабка в Гдове каждый раз ныла: «Привези-и пустырьника...» Пустыня представлялась Николай Михальчу цветущей и бесконечной. Вот он и возил без конца склянки да порошки и теперь, вспомнив бабку, вспомнив Гдов, лежал и

переживал это аптечно вонючее, безнадежное слово. Николай Михалыч пошевелил ногами, посмотрел: ноготь большого пальца на левой ноге просвечивал сквозь носок. Нет, не сдать. Кранты...

День был низкий, противный. Николай Михалыч встал, скрипнув пружинами, с горячего одеяла, подошел к окну, задернул занавеску, тоже в каких-то цветочках, лекарственных, вонючих, и снова лег. Зачем вообще все делается в жизни, ради чего, ведь только чуть сдвинь — и выходит, что незачем все это и не нужно, если, конечно, не захочется — чисто по-человечески?.. Да, вляпался. У, Бараноев, злой чучмек! Когда Николай Михалыч, перед тем как идти сдавать, надевал специальные запонки, то так и видел его харю — круглую, в ямках-морщинках, как у лилипута, и с глазами-шелками. Дефективный — точно. А может, выслуживается? Привязался к методу: «метод» да «метод». «Я ж тебе по-русски толкую!» — чуть не сорвалось тогда у Николай Михалыча. У, цитварное семя! Он потянулся и взял с тумбочки старостихин конспект, страницы — в синих жирных пятнах пасты.

Вошел Игорь в тренировочном, потянулся: «Григоряна не видел?» Вот падло, и улыбка у него такая блевотная, дурная, между арабскими усами, и подбородок с ямкой. Молчит, а как будто говорит: «Все понимаю.» И уж лучше б сказал. Николай Михалыч по третьему заходу готовился пересдавать драмат. Сначала вообще пошел с бодуна, думал проскочить, даже шпору не взял, но Бараноев то ли почуял выхлоп, но привязался и завалил на методе. Потом наярюкались, и он схлестнулся с Игорем, что пересдаст на четыре балла. Вчера пошел, но тот уже смотрит хитро и так посадил на кафедре, что не сдерешь. Да, кранты ему теперь, и не то что денег не было — коньяк отдать, хотя и не было, а обидно, что у него — мамаша, розы в Сочи, а теперь стоит тут и ухмыляется, и ничего с ним не сделаешь. И такое его зло брало, что он просто гнил от злости: вчера купил бутылку, налил, отпил — и вылил все втихаря в сортир. Даже руки тряслись. Ладно, сессия кончится — к бабке в Гдв, дровишки колоть.

... В этом доме с остриженным краешком, так что угловые комнаты все были трапециями, я это знаю, потому что был в одной из таких, где жила еврейская семья из одной женщины, сын у нее погиб на учениях, а квартиры все выходили в коридоры, и в огромных этих коридорах, бело-синих, больничных, со сводчатыми потолками, круглые сутки висели ребристые лампы, но они не горели — тлели вместо них надежные, тусклые, и жизнь просачивалась из-за дверей с половичками — запахами и звуками, близкая, но невидимая, как жизнь жучков-древоточцев, а гнилой пацан в безразмерном пальто с торчащими из рукавов кончиками обгрызанных пальцев, доставал из большого пакета пахучие пакетики, и совал мне в карман, и словно с каждым засунутым пакетиком делался взрослее и увереннее, и уже поучал меня, кивая какой-то высунувшейся в коридор бабке, и предлагал завтра принести еще, и когда она выбежала из парадной этого дома, а она выбежала, не хлопнув дверью: вы-

сокая, дверь всегда стояла приоткрытой, — и остановилась возле автоматной будки, я как раз проходил мимо и, обходя лужу, в которой плавал клок облачного неба, поднял глаза, а она была, как Суок — в трико, черном и блестящем, и на высоких каблуках, и перекачнулась с каблуков на носки, привстала и повернулась, слегка разведя плавно руки, как в фигурном катании в конце номера, и белые рукава ее кофты взвились и опали. Будка была раздолбанная, с выбитыми стеклами — скрипучий и громыхающий каркас, и парень, торчавший из нее локтями и коленями и что-то говоривший в трубку так, будто ему действительно было что сказать, лениво покосился в сторону моей Суок.

Когда мы простились после первого вечера, после качелей, я, совершенно спокойный, то ли шел, то ли бежал по совершенно невесомой дорожке сада, упиваясь влажным хрустом красного песка, — тогда я думал не о том, что случилось, а как бы боковым зрением вспоминал все с того момента, когда она выбежала из парадной, а я, дойдя до перекрестка, встал, хотя как раз зажегся зеленый. На перекрестке было чадно и шумно — грузовики с набережной пустили в объезд. Булочная, куда я шел, уже открылась, и хвост очереди почти целиком втянулся внутрь, но какая-то девчонка, размахивая пустой сеткой и толкая входящих, уже выбежала, прыгая по ступенькам, а это значило, что хлеба так и не привезли. И только тут я удивился, медленно и глубоко: а зачем? Да не нужна мне она теперь, эта булочная, совершенно мне не нужна, ну что я там буду — покупать булки? — даже если их привезут. Светофор мучительно менял цвета. С преступным чувством вдыхая сырой, густо пахнувший бензином воздух, стоял я у края тротуара, а люди переходили улицу, и заигрывал, елозя то по щеке, то по волосам, глупый зайчик из окна женского общежития. Боясь обернуться, я смотрел на угол у булочной, где старухи рассаживались на ящики, надевая на головы полиэтиленовые мешки (опять стало накрапывать), рабочие у табачного ларька, залезая по локоть, копались в карманах, — тупо и чутко смотрел в это дурацкое зеркало, отражавшее все, кроме того, что было мне интересно, у меня за спиной. Невольно просчитывалось, куда она может звонить, куда звонят с таким выражением лица. Скорей всего, подруге: намечалась вечеринка с темным концом, и это был последний — просто так — звонок. Потом, кстати, выяснилось, что она действительно звонила, но не подружке, а домой от подруги. Зеленый — сквозь рык трогających грузовиков я услышал, как лязгнула, задрезбуждала будка, обернулся, но никого ни в будке, ни вообще не было, и я — что еще оставалось — опрометью кинулся в парадную... В булочной замечательно пахло свежим хлебом, и, приготовив мелочь без сдачи, я расслабленно слушал, как покрикивает на очередь деспотичная кассирша-горбунья, и вертел в кармане коробок с тупо, ногтем, процарапанным телефоном.

Перейдя через мост, мы долго шли по набережной, потом свернули в обсаженную тополями линию, освещенную в один ряд горящими фонарями, и все говорили, говорили, дождь тоже оказывался замешан в эти разговоры, и полу-

чалось, что мы уходили как бы в двойную даль: темного и уже совсем незнакомого мне города и наших воспоминаний, перекликавшихся так, словно они принадлежали одному человеку, были из одного семейного альбома, особенно в тех закоулках, куда мы прятались, когда дождь становился сильнее, и где, блестя мокрой шерстью, выскакивала из-под ног безымянная кошка.

По черному светящемуся асфальту проспекта, брызжа, катили редкие машины. По косо пересекавшей его линии тянулись трамвайные пути, и трамваи, глухо и сосредоточенно, словно одобрительно кашляя в кулак, прогремев на перепутье, рассыпали искры и раскатывались по тонкой, острой, звенящей прямой. Из ресторана, название которого, красными буквами, нервно дергалось и подмигивало, выгалкивали запозднившихся, веселых и расстегнутых посетителей.

Вдруг остановились. Справа, отступая вглубь, чугунные высокие ворота вели в сад. Матовый чугун был в капельках, как ворсинки ее берета, как ее волосы. «Глухомань,» — произнес кто-то во мне сладко занывшее слово. Сад стоял, безразлично скорбный, как выселенный дом, и бело-зеленая эстрада между деревьями была похожа на трюмо, которое забыли вынести. Она что-то говорила про работу, как ей хочется перевестись поскорее, но что на машинке — уже получается. Губы у меня замерзли и плохо слушались. Сбоку от эстрады была детская площадка с качелями, сбившимися в кучу, и горкой-слоником в темных сырых пятнах. Мы сели на одну из качелей, причем она качнулась не назад, а как-то вбок, тяжело и скрипуче, и неожиданно оказались так низко и так рядом, что тут же понадобилось закурить, и я стал шарить по карманам сигареты, а она в сумочке — спички, говоря, что у них на работе одна цыганка, то есть нет, когда она шла на работу, одна цыганка, и она теперь тоже может сказать по руке, и берет у нее съехал набок, а моя ладонь на мгновение прижалась к ее прохладным шуршащим коленям. И когда она скрылась за эстрадой, сказав: «Звони,» — а я шел обратно, к воротам, к проспекту, и слушал сад, огромный и мокрый, как вылезший из воды ньюфаундленд, слушал его с тем удвоенным наслаждением, какое бывает, когда слушаешь один любимую пластинку, то — да, я был счастлив оттого, что я теперь сам по себе, но не один.

Мы встречались обычно у станции метро «Гостиный двор» — там, где выход на канал Грибоедова. Я всегда приходил раньше и, пока стоял на пяточке, обращенном к Дому книги, у перилец, вдоль которых могло встать два-три, не больше, человека, успевал пропитаться снующим духом втекающей и вытекающей, завихряющейся толпы, движущейся безостановочно, так что, даже если ты сам стоял, поджидая и курия, или разговаривая, или и то и другое вместе, или сидел на мраморном приступке и торговал цветами и плакатами, тебе казалось, что то ли ты движешься сквозь толпу, то ли она — сквозь тебя, начинало рябить в глазах, и уж совсем как в дурном сне вдруг высывалась голова ведущего модной телепрограммы, или чудака, с которым

ты стоял в очереди под прошлый Новый год и говорил о женском естестве, не понимая, чего он от тебя хочет, или просто знакомое лицо, которое ты был не в силах вспомнить. Шумел и двигался рядом Невский. Однорукий трубач в драповом пальто, коряво ухватив трубу, извлекал из нее такие же, как она сама, мятые, гнутые, тускло отливающие звуки, какие, наверное, можно было бы извлечь, играя на флейтах водосточных труб. Иногда его задыхающаяся мазня раздражала, иногда вызывала усмешку, но все это были случайные эмоции, поскольку (я понял это далеко не сразу, хотя ждать это приходилось подолгу) главное было для него — в нужный момент угадать любимую мелодию, и если это происходило, то звуки трубы поражали радостью, и сердце ныло, и, когда он однажды угадал и про меня, я подошел и опустил в его кепку рубль.

С тех пор как она стала моей, я испытывал постоянную неловкость, потому что никогда не думал, что такой по природе чопорный и буду постоянно краснеть, когда про нее что-нибудь скажут на улице (это случалось нередко) или посмотрят (а это случалось еще чаще) так, что мне сквозь землю захочется провалиться из-за права своей собственности. Мы гуляли либо, если погода была плохая и подворачивался фильм, шли в кино, где я испытывал мирные хозяйские радости, покупая ей мороженое с загнутым кончиком, который она слизывала по-детски сладострастно, а потом, сидя в темном зале, с упоением косился на ее освещенный переменчивым экранным светом профиль, внимательно внимающий.

Как-то раз, когда я провожал ее домой, она рассказала, что в нее влюблен какой-то Хосе из общежития, который просто молча стоял и смотрел, и когда мы вошли в арку, там точно стоял в тени, в углу тип с поднятым воротником; она сжала мне руку, и я понял, что это и есть Хосе, но, когда шел обратно, никого, конечно, уже не было.

Сессия шла к концу, и я готовился к самому противному экзамену — социалэку, который принимал унылый Стукань, в очках, похожий на корневище хрена и любивший спрашивать без подготовки и перекрестно, особенно «Критику Готской программы». Творилось странное: усевшись за кирпич с красными буквами на серой коре переплета, пробираясь к концу, я забывал, о чем говорилось в начале, а вернувшись к началу, начисто забывал, про что шла речь в конце; с отчаянием пролистывал несколько страниц, открывал книгу наугад — и все казалось, она открывается на одном и том же заколдованном месте, которое я уже читал, но вот только в начале или в конце? Но чем ближе по часам придвигалось свидание с Суок, тем волнительнее и путаннее начинали звучать путанные и скучные слова, подсвеченные изнутри моим волнением.

...В жизни всегда есть старшие, которые говорят медленно, размеренно и весомо, и мысли их, всегда образные и непреложные, неизменные во всю жизнь, и они сообщают их тебе по телефону, а ты теряешься, чувствуя их безупречную правоту, но еще больше оттого, что эта правота уже приходила (или

придет — ты как-то особенно начинаешь понимать это) к тебе, но ты ее позабыл, оставил в том дне — со всеми его причиндалами, — когда она к тебе приходила. Принято думать, что это счастье — повстречать такого человека — учителя, старшего спутника, друга, — не знаю, но мне было не по себе, когда она, как старшая, закрывала глаза — в комнате горела только настольная лампа под колпаком с птицами, — улыбка проступала, и дух захватывало оттого, что с ней можно было тогда делать все что угодно.

Николай Михалыч сорвал галстук. Все — отстрелялся. В сортире было холодно и никого. В открытую форточку летел снег и пропадал в кафеле. Сунув галстук в карман, Николай Михалыч достал папиросу и закурил, прохаживаясь и глубоко дыша. Хотел было закурить прямо у кафедры — погнали, но он даже не отмахнулся. И так хорошо. Все теперь хорошо. Ходя, посмотрелся в зеркало: рожа красная, но сухая. Нутряной жар. Всю ночь не спал. С утра набрал шпор, повязал галстук. Запонки надевать не стал. Сплюнув на окурок, Николай Михалыч отвернул кран, наклонился. Вода была холодная и вонючая, и он вспомнил о коньяке. Ну, теперь, Игорек, кранты тебе, не отвертись. И как пронесло — самому непонятно. Бараноев читал газету, а когда он отвечал, то даже в глаза не смотрел, а только сквозь да поверх. Может, издевался? Да, теперь без разницы!..

Возле павильонов поставили щиты. В самих павильонах, стеклянных, видных насквозь, когда-то катались на машинка и было весело, а теперь — пусто, то есть стояли в беспорядке контейнеры, укрытые серым брезентом. На щитах расположилась реклама путешествий: летела, разевая клюв, ворона, зажав в когтистой лапе часы-брелок, показывавшие время отправления, а три толстых человечка — папа, мама и сынок сзади — бежали как сумасшедшие, кувыряясь, а из чемоданов у них вываливалось белье, кастрюли...

Я прохаживался вдоль щитов, подняв воротник, пряча нос в шарф и притопывая от холода. Снег летел, веселый, казенный, и легкие серые тени лежали на сугробах. Договорились встретиться и перед встречей созвониться, но она не позвонила, а я пробовал, но автомат не соединял, и я кричал в молчащую трубку: «ДА, ДА, это я!» — пока не щелкало и не разъединяло. Еще раз посмотрев на ворону, на сомнительное время на вороньих часах, я пошел к ней.

Она открыла и, пока я раздевался, прошла молча в комнату. Когда я вошел, передергивая плечами с холода, она уже сидела, поджав ноги, в дальнем углу дивана. Я присел с краю, заговорил (очень хотелось курить, но мать не разрешала, и можно было только на площадке), но разговор словно уходил в какую-то отдушину, как будто не закрыто окно или выбито. Она не сказала, почему не позвонила, не пришла, а я не спросил, и вообще она все молчала и куталась в красный в клетку платок, как когда хандрила, ждала звонка или — или как перед отъездом, когда вещи поделены — одни в узлах и чемоданах,

другие остаются, — и в доме — тишина и настороженность.

Будильник громко тикал посередине пустого письменного стола. Я смотрел на птиц на колпаке лампы, нарисованных масляной краской, неумело, но — перышко к перышку, и они косились на меня каждая своим единственным глазом, а разговор не шел, и понемногу начинал злиться — что все это значит.

«Ладно, пора!» — вдруг сказала она, взглянув на будильник. Было начало десятого. «Пойдем!» — «Куда?» — «А недалеко тут, близко.»

На улице она взяла меня за руку, и мимо точечного дома мы свернули в проходной двор, которым еще не ходили. Она шла быстро, почти бежала и тянула меня. Я скользил, и она несколько раз поскользнулась, но хваталась за меня, и нам удавалось устоять.

Резко свернула она, и я за ней, в какой-то ярко освещенный подъезд с вывеской, которую я не успел прочитать. Мы быстро прошли мимо застекленного окошка, где румяная бабка, пившая чай, прокричала нам что-то неслышное, замахала руками. Пахло столовой. По стенам вестибюля разлетелись нарисованные масляной краской птицы. В углу стоял синий диванчик.

«Подожди, — сказала она, расстегивая верхнюю пуговицу пальто. — Он сейчас выйдет.» Было неприятно, как-то фамильярно жарко. «Идет.» Она вся преобразилась, выпустила мою руку и сделала несколько шагов навстречу шлепавшим из глубины коридора шагам. По коридору, поправляя накиннутую на плечи спортивную куртку, шагал, гадко и смущенно улыбаясь, усатый молодой человек. «Шлеп, шлеп,» — прошлепал он по двум ступенькам, спускавшимся из коридора в вестибюль. Она взяла его под руку, подвела его к диванчику, и они сели, повернувшись друг к другу, почти касаясь коленями, не разнимая рук и румяно улыбаясь — так, словно отъехал невидимый занавес, и появилась сцена, и вот они сейчас заговорят.

---

## Алексей Пурин

---

### НИЖЕГОРОДСКИЕ АХИ

«Слово, лишнее как таковое»

Анна Ры Никонова-Таршис

(В феврале 1991 года в Н. Новгороде состоялась конференция, посвященная проблемам современного «авангарда», организованная ассоциацией «Новая литература» и нижегородским поэтом Мариной Кулаковой. Эпиграф к стихам — название одного из докладов, там прочитанных. Как раз тогда было введено в действие пуго-язовское распоряжение о совмещенных сапожно-ботиночных патрульных прогулках. Иных уж нет...)

#### 1

Протагор подыгрывает Сократу.

С каждым ходом шахматным — гуще сети,  
туже пути. Мудрость ждет в награду?

Да, любовь ведет диалоги эти.

Мотылек запутался в паутине.

И пустеют крупные аксиомы.

Подойди чуть ближе — и на картине  
нет ни тел, ни фабулы, ни истома.

Ибо самый сильный соблазн — в природе  
мысли, кисти, музыки, камня, слова.

И кружит нам головы — мелкий вроде —  
сдвиг, уловка тайная рыболова.

А когда дурак в слабонервном раже

парашюта режет тугие пути,  
то безлюбой власти не нужно даже  
ни нетли, ни извести, ни цыкуты.

#### 2

Лишь бы дыркой бублика в букве «нолик»  
немота белела, а слов не надо;

слово — блеф и гибель... И я до коллик  
хохотал бы, стул уронил, менада,  
как и ты, когда бы среди буколик  
европейских плыл, не по кромке ада.

Растоптал бы книгу, порвал, порезал,  
бахромой настриг и облил бензином...  
Так оракул серный дурманит Креза —  
и крадется перс по сырым низинам...  
Я и сам бы в разум пальнул с обреза,  
но не здесь, в эринний гнезде осином.

Разве град Энэн, где Ока на Волгу  
наплывает веком слепой метели,  
нас не нудит смысла искать иголку?  
Где стога лидийские? Где? Не в те ли  
«дыры», «булы», «щылы» ушли, не в щелку  
азиатской зауми улетели?..

Воронье в кремлях. И подковки цепки  
патруля. Тепло ли в троянском танке?  
Сня спокойно, Эвнй, кликуша в кепке, —  
хлеба нет, но живы твои вакханки:  
стул ломают, пляшут, кричат: «Гнилая  
ткань! Ткни, ткни!» — ровесницы Менелая.

### 3

Ни крутого сбития никакого —  
пух и прах.

Лишнее как таковое слово,  
олово, полова...

Ах!

Только полоумье постового  
с хрустом в каблуках.

Как легко мне, Господи, и пусто  
улицей идти

Свердлова-Свердлова!

Яблоко-капуста,

кисло и медово,

крепкоусто

под стопой хрусти!

Или — вроде талька или дуста...  
Как все это ново!  
Травести.

Никаких поджарок там и булок,  
никаких шабли.  
Ничего такого,  
такового.  
Ой-люли!  
Никаких сандаловых шкатулок —  
снег в горсти...

Ибо было слово, и у Бога  
было слово, слово было Бог...  
Как убого!  
Только холм кремлевский белобоко  
млеет, лежебока-  
колобок.

4

Ни волшебной горы, ни отеля «Савой»,  
только Волги белесой — с лихвой.  
Только холода дуло у лба и тулуп,  
только в булочной полный отлуп.  
Где Саратов-амбар, самобранка-Торжок?  
Только выюги военной рожок.  
Только сталинский сокол в тупых сапогах —  
полированный цоколь, ледовый госстрах.  
Ах, усатой фонетикой okay, Ока:  
отчего это Чкалов начхал на Чека?..  
Никаких Рябушинских. В их полом гнезде  
кукушонок каприйский сидит на гвозде;  
он кукует Роллану про лад-Беломор...  
Всю махорку скурили с тех пор.  
А стихи почитай: волчий улей, Тимур,  
жмурки смысла, словесный сумбур.

5

Не салат, а поле Куликово:  
косточки, и лук, и рис...  
«Чаю, извините, никакого...

Кофию?...» — ну вот еще каприз.  
Ах, мерси, Марина Кулакова! —  
Рюмочки — и те перевелись,  
выродились, вымахали, знаешь,  
лопухом немытым разрослись.  
Госказну в фужеры наливаешь,  
ковыряешь слизь.

А, глядя, вокруг еще балдеют  
от щедрот,  
замирают, сердцем холодеют,  
округляют рот  
оканьем... Ока не оскудеет,  
серебра неупроворот.

О, с каким же мозгом конопатым  
нужно жить в отечестве моем!  
Только словом слава и крепка там,  
и сладка. И емлет окоем  
окарна, свищушая катан  
и прокал. И мы свое споем.

6

Мялцвоверов бабья полушубки,  
ремешкв и бляшки, мех...  
Сизые такие голубкв-голубки.  
Их бы, эх!  
В валенках плывут, качаются как шлюпки:  
яблочный румянец, детский смех.

Их бы приголубить, глурых: гули-гули!  
Кловй, птенец!  
Крикни «караул!», усни на карауле,  
в патруле, Пароль — «Пиздец».  
Все, весельчакам, им — по болту, а хули? —  
Воздух — леденец.

Хочется молочную сунуть шоколадку —  
пососите. Ох!  
Как Ильич, пощупать теплую подкладку  
и как Осип, — складку,  
грубую на вдох.

Стоит только сбавить «яблочко» вприсядку —  
и в мозгу растёт еловый мох.

Первый космонавт из «Англетера» —  
весь их слух,  
вся любовь их ватная и вера.  
Заспанный язык припух.  
Кто жальчей милиционера,  
беспризорней, ух?

Их бы, их бы в соловьиных перлах  
пестовать, но ах!  
Их бинь кранке нахтигаль, натюрлих,  
эи зинд вольфен, — абгемахт!  
До свиданья, милые, до свиданья, эрлихи —  
с дырочками в славных черепах!

Но в груди колотится и сладко  
млеет под поллой. —  
Андрогин платоновский, двойчатка —  
с рацией, игрой и кабурой.  
Парочка волчат правопорядка.  
Дети перестрой...

7

Розовато-белое, вернее —  
серовато-алое шитьё,  
мешковиной рыхлой пламенея,  
плащаницей выцветшей плывет —  
иней барочная камей,  
горла воспаленного налет!

Кто тебя, карминную, укутал  
в гниловато-марлевою сеть?  
Кто утыкал луковичный купол  
иглами? Висеть  
разрешил?.. Тяжелая шпалера —  
нет, парча  
старая так ало-тускросеро-  
серебристо-горяча!

В феврале сухих голландских кружев

глет лён.  
Я был тоже жемчуг. Ныне — ужас! —  
тлен вселен.  
Эта ленность, эта пена в кадке,  
муть, квашня,  
этот вот подвох в миропорядке  
так страшит меня!

Но, как в жарколобой малярин,  
все багряногруды снегири —  
вроде млечной бусины-Марин,  
тлеющей Младенцем изнутри.  
Тем, кто скажет Лазарю: «гори и  
говори!»

### 8

Выглянешь в окно — лишь белое льняное  
полотно — речное, неземное,  
плащаница тающая, плат  
из Турнина, мленье ледяное,  
умиление... Волга, говорят.

И пятна блаженного, сырого  
мокрое льново серебро,  
словно царский китель у Серова  
и сирень рыдающая... Слово  
так люблю, что колет под ребро!

Топит Пасха снежно-нитяную  
ткань пелен. Куда ни поверну я  
речь-свечу, прозрачнее еще  
белизну расплавил дневную,  
талый воск сбегает горячо.

И стекло, пройдя огонь плащаницы,  
выпуклой психеей светосильной  
собирает слабое светло.  
Слеп Фома, не ведающий блага,  
и надводный снег ему — бумага,  
а не лен Господен, не крыло.

---

## Кирилл Кобрин

---

### TO LOVE MORITUROS

«Слово, отрезанное от адресата  
и адресанта, — труп.»

Алексей Пурин «Свобода от свободы, или  
Стихотворство на современном этапе»

**Е**сли верить Илье Пригожину, то все мы несемся (как бы) по железной дороге, а те ветки, которые поезд проскакивает, звеня ложечками в стаканах, те нереализованные потенциальности являются предметом литературы и изящных искусств. Именно в слове, в звуке и т. д. они воплощаются, производя иллюзию, будто состав свернул как раз сюда. Если верить стилизованным под индейцев басмачам (душманам) из «Белого солнца пустыни», то маленькие причины имеют большие последствия. Именно последствия скромной провинциальной конференции с дурацким названием «Современная литература и филология» навели мне этот макабрический сюжет.

Итак, сначала была конференция. Неискушенность организаторов собрала в скромных, но строгих ех-комсомольских аппаратах столь гремучую смесь участников, что Натура, пытаясь от невиданной наглости нижегородских неофигов, даже не вмешалась и не произвела положенного взрыва. Питерские неоклассики были, как и подобает им, сдержанны, ироничны, почти корректны и полны чувства собственного достоинства, невнятные мальчишки из литинститута несли положенную им ахинею, герои «поколения дворников и сторожей» выражались (по настроению) то научнообразно, то по-домашнему, но и в том, и в другом случае весьма безответственно; наконец, пожилая переводчица с английского раскрыла-таки авторство всех творений псевдошекспира. Интересы гостей были параллельны не в смысле схожести, а в смысле Евклида: они не пересекались. Поменяв геометрию на тригонометрию, скажем, что эти интересы лежали в разных плоскостях.

Но: на каждого Евклида найдется свой Лобачевский, тем более, что действие происходило в городе, где последний оставил неизгладимый след в виде своего имени в названии местного университета. Участница из небольшого южнорусского поселения прочитала доклад со (ставшим уже почти знаменитым) заглавием «Слово, лишнее как таковое» и пугающим эпиграфом из авангардиста А. Чичерина: «Слово — болезнь язва рак который губил и губит поэтов и неизлечимо пятит поэзию к гибели к разложению». Так мотив гниения, метастаз, умирания зазвучит в первый раз в нашем сюжете.

На пару десятков минут слушатели как бы попали в атмосферу (столь лю-

безного Станиславу Говорухину и советским статистикам) тысяча девятьсот тринадцатого года. Кажется, был даже брошен стул. Параллельные пересеклись, плоскости столкнулись на миг, чтоб сильнее разбежаться в разные стороны. Слово пожалели почти все. Похихикали, поежились и, казалось, забыли. Впрочем, нет. В повторном выступлении антивербалистки была (опять-таки, кажется) брошена следующая (вторая) фраза, подхватившая некромотив: «Да, Манделъштам, может быть, был хороший поэт, но сейчас это все мертво.»

Видимо, образ умирающего, разлагающегося Слова, по которому червяками ползают тире, запятые и прочие знаки препинания; Слова, которое своим гнилостным дыханием поражает Поэзию, так взволновал некоторых участников (в т. ч. и автора концепции), что все несказанное в бывшем нижегородском обкоме (ли?) стало выплывать, прорываться на поверхность в переписке, публицистике и т. д.

Проскочив (по Пригожину) железнодорожную ветку, все бросились моделировать несостоявшийся консилиум над умирающим (или симулирующим?)<sup>1</sup> Словом. Два-три намека всплыли в переписке (кажется что-то об «мертвевших формах литературы», но мы-то знаем, о чем тут речь!). Один из главных классиков среди неоклассиков даже изменил своей неоклассической сдержанности и обрушил на голову бедной южнорусской авангардистки гневную инвективу<sup>2</sup>, видимо, наспех составленную, а потому банальную и слова в ней действительно были «чуть тепленькие, трупцом попахивающие».

Меж тем словесно-онкологический мотив усилился, стал звучать как-то глубже и основательнее, чем обсуждение вопроса в системе «сам дурак». Я, в свою очередь, с удовольствием следил за развитием событий. «Не так все просто, — думал я, — постой, ты увидишь кое-что поинтересней.» И увидел. Вернее, прочитал.

Наконец-таки (лишь ко второму отделению, запыхавшись, расталкивая зевак) появляется главный герой нашего текста — Алексей Пурин<sup>3</sup>, прекрасный питерский поэт и эссеист (прилежный читатель должен помнить его цикл армейских стихов и тонкую статью о М. Кузmine). Так вот, в «Искусстве Ленинграда»<sup>4</sup> появилось его эссе «Тот Август». Трупы<sup>5</sup>, тризны, поминки и проч. переполняют этот элегантный текст. Трактуется «Концерт на вокзале»

---

<sup>1</sup> Может, оно и впрямь симулирует, «косит», как косят от армии (прикидываясь то плоскостопым, то сумасшедшим) хитрые призывники. От кого, тогда, или от чего косит Слово?

<sup>2</sup> Желаящие могут прочитать эту статью; она опубликована в «Литературной газете» где-то летом 1991 г.

<sup>3</sup> Само собой, участник той конференции.

<sup>4</sup> Пора перестать делать вид, будто я что-то скрываю: номер 8, год 1991, сдано в набор 10.04.91, подписано в печать 16.12.91, формат издания... и т. д.

<sup>5</sup> О которые даже спотыкаются; чем не триллер.

Магдельштама: возникает «элизиум туманный», затем, по ассоциации, Павловск, Царскосельский вокзал в Петербурге, Иннокентий Анненский, умерший на ступенях этого вокзала, «милая тень» Анненского, август 1921г.<sup>6</sup>, смерть Гумилева и Блока. Именно Блок является центром этого макабрического рассуждения. Блок — «математический итог XIX века». С Блока русская поэзия, по мнению автора, окончательно разбежалась по «европейской» (благородной, смысловой, в общем, хорошей) и «азиатской» (алхимической, тайнописной, герметической, иррациональной, грозящей вырождением, распадом) дорожкам. Сам Блок был последним, совмещавшим обе возможности, но он не передал, не мог передать этого дара другим. Почему? Да потому что он «мертвец», «носферату», «гальванизированная мумия», «розовощекый лирический вампир». Достаточно жуткий список (прибавим еще кузминские слова: «Как изменился Блок. Как страшно и какой дух тления»).

Прочитав статью Пурина, трудно отделаться от какого-то навязчивого, нет, не мотива, интонации, вроде бы посторонней, но ужасно знакомой. Конечно, конечно это она — «болезнь язва рак... к гибели... к разложению.» Вот так, — подумал я, — конференция. Прорывается.» И действительно, совершив небольшую подмену: Слово — мертвец, носферату, гальванизированная мумия, розовощекый вампир, какой дух тления. Рак язва болезнь. А Чичерин не постыдился бы таких деклараций. Мотив болезни, смерти Слова проникает, располагается в чужих текстах, и автор бессознательно подменяет одно другим: ведь это не Блок какой-нибудь, а Слово совмещало все потенциальные возможности русской поэзии.<sup>7</sup> Но... состав тронулся, ложечки зазвенели и обиженные пассажиры грустно смотрят на оставшиеся позади ветки. А на этих ветках, в туниках, ржавеют километры невоплощенных строк.

Между тем прошло полтора года. Доклад «Слово, лишнее как таковое» появился на страницах некоего провинциального издания. И вновь: шум, стелания оскорбленной невинности, запланированное возмущение. Образ подыхающего Слова продолжал провоцировать — но полированные реакции уже были неинтересны. Оставалось ждать, как ждал Шерлок Холмс знаков тайной активности преступной организации профессора Мориарти. Уверенный, что мотив-бацилла вновь высунет на свет свою рогающую голову, я не ошибся, но радость охотника была вдвое сильна, ибо это произошло не где-нибудь, а в статье все того же Алексея Пурина.<sup>8</sup> Повод ее — дежурный: борьба с... как бы

---

<sup>6</sup> И, конечно, август 1921г. есть Тот Август — египетский бог мудрости, счета и письма; писец, записывающий дни смерти людей, взвешивающий сердца умерших, охраняющий каждого покойника и ведущий его в Царство Мертвых.

<sup>7</sup> Представляю, что о такой подмене наговорил бы по «Свободе» Б. М. Парамонов.

<sup>8</sup> «Литературная газета», 1992, №38, 16.09.92: «Свобода от свободы, или Стихотворство на современном этапе».



(«бабьи полушубки, ремешки и бляшки, мех...»). Т. е. слово создает вещи, давая им имена; имена воплощаются в предметы, людей, последние обрастают объемом, подробностями, как герой Пруста, просыпаются в темной комнате и память возвращается к ним толчками, внезапными приливами; среди хрипа и свиста культурного эфира выплывают Крученых<sup>12</sup> и Гомер, Кузмин<sup>13</sup> и Анненский,<sup>14</sup> Горький и Томас Манн. И вот по улицам купеческого города «из бывших» не метель, не хлопья снега спешат на синем фоне неба, это рвется, рвется в эфир, в память, на свет одинокого фонаря Логос, Слово, стремится успеть, дать вспомнить все, что некогда было в нем заключено, перед тем, как кануть в никуда. Да, именно кануть, иначе как объяснить вот это: «Слово так люблю, что колет под ребро.» Может, я неправ, но так любят безнадёжно больных.

---

<sup>12</sup> С неизбежным, как Маркс-Энгельс-Ленин трио «дыр, бул, щыл». Можно подумать, что бедный футурист ничего более не написал. Так Вольтер, чьи труды могут заполнить т. наз. «большую комнату» моей квартиры, останется (да и уже остался) в памяти автором «Кандида», а неудачливый романист Шервуд Андерсон — автором сборничка новелл «Уайнсбург, Огайо». Возвращаясь к Крученыху — почему не более барабанное «Дред Обрядык Дрададак!!!»?

<sup>13</sup> «Никаких поджарок там и булок, никаких шабли». Аллюзию на опять-таки хрестоматийное стихотворение Кузмина расшифровывать не надо. Отметим лишь, что хитрюга-речь сыграла здесь роль двойного агента — работая на автора, подставила его. В интонации этой фразы слышится: «Ни тебе аванса, ни пивной...» из эпитафии известного кого известно кому. Кстати, Есенин тоже присутствует в «нижегородских ахах» — «первый космонавт из Англелера» — и автор к нему, гипотетическому любимцу проблематичных («яблочный румянец, детский смех») милиционеров, симпатий не испытывает. Не симпатизируя нелюбимому Маяковским Есенину, Пурин попадает в интонацию стихотворения Владимира Владимировича именно Есенину, вернее, его смерти, посвященного. Но автор (и это ясно) *должен быть враждебен* и Маяковскому. Вот он, неверный свет «речи-свечи», от которой шарахаются тени по стенам. И потом. Как же это «никаких поджарок»? Отвратительная «поджарка» есть главное блюдо нижегородского общенита.

<sup>14</sup> Отметим варваризированные «сандаловые шкатулки» в правах «кипарисового ларца».

РЭНДЗЮ

*Предисловие редакции*

Как уже сообщалось, продолжается расследование обстоятельств беспрецедентного убийства Диктатора. Мы регулярно информировали читателей о ходе следствия и событиях, последовавших за покушением: волнениях на побережье, дезертирстве высших чиновников, а также о взрыве, потрясшем неделю назад Главный Магистрат Расследований, в результате которого погибло 14 человек, в том числе и Первый Магистр Расследований Его Превосходительство господин Дегрэ. В руки нашего сотрудника, одним из первых прибывшего на место взрыва, попал серебристый чемоданчик, который, по всей вероятности, пытались вынести из здания Магистрата за несколько минут до катастрофы. При вскрытии в чемоданчике были обнаружены 300 тысяч долларов, пачка конвертов, поливиниловая ампула с ядом, снятый с предохранителя браунинг с полным магазином и 20 листов, аккуратно заполненных убористым почерком. Материал, содержащийся в рукописи, представляется небезынтересным и публикуется без сокращений.

**«М**еня зовут Дегрэ. Моя фамилия и должность (мне это хорошо известно) вот уже пятнадцать лет служат поводом к распространению среди сотрудников Магистрата самых примитивных анекдотов обо мне, глупейшим образом намекающих на популярный персонаж пошлых детективов Сименона. Счастье этих недоучек, что, работая постоянно в атмосфере всеобщего хамства и трусливого выпота, я не имел ни времени, ни желания вникать в подобную чепуху. Но если действительно так необходимо теперь даже в имени усматривать литературный источник, я мог бы указать куда более раннее произведение одного немецкого романтика, которое, хотя и стилизовано под французскую хронику, остается и поныне образцом первозданной остроты детективного сюжета, осененного притом нордическим интеллектом, так что всевозможные джекилы и хайды выглядят рядом наивным повторением старого. Впрочем, я самообольщаюсь: такое указание ни к чему бы, по-видимому, не привело — неистребима страсть человека уподобляться персонажам, и все мои сотрудники, начиная с директоров отделов и кончая сержантами, не составляют исключения. Вообще замечено, что мы гораздо охотнее идентифицируем себя с каким-нибудь литературным героем, чем с кем-либо из своих знакомых, как будто почетнее иметь сходство с неким символом, нежели походить на живого человека, тем более на самого себя... Не происходит ли это от заурядного страха перед

реальностью? И не здесь ли коренится неодолимое стремление к чтению и сочинительству романов?

... Перечел первый абзац и обнаружил, что отклонился от темы. Разумеется, длинное рассуждение о литературных двойниках было совершенно излишним, что еще раз доказывает полную мою несостоятельность в избранном мною беллетристическом жанре. Однако, это не имеет ровно никакого значения, так как, прежде всего, я берусь за перо в первый и последний раз, во вторых, вынуждает меня к этому не тщеславное желание поиграть в классики, а сознание неотвратимости катастрофы, нависшей над Островом после убийства Диктатора. Наконец, извиняет некоторую мою сбивчивость и твердо данное себе слово избавить эти записи от всякой даже видимости ненавистной мне литературности: я решил не править и не убирать ни строчки.

Итак, я сказал, только понимание неизбежности скорого конца заставило меня, Первого Магистра Расследований, обратиться к бумаге с тем, чтобы изложить со всей ясностью обстоятельства убийства Диктатора, поскольку лицемерие нашей прессы, которая делает вид, будто ничего не происходит, а также убожество так называемого следствия — эти два пожирающие друг друга трюфлелюды — способны лишь окончательно запутать дело и ввести в заблуждение весь Остров. Надеюсь, читающие эти строки оценят всю исключительность ситуации, принудившей человека, обладавшего до последнего времени безграничной властью, прибегнуть к столь нелепому способу восстановления истины, как написание данного отчета. Ибо я настаиваю, вопреки вонючему сиропу, вливаемому газетами в умы нашего двуязычного Острова, — я настаиваю на том, что трагедия уже началась, и развязка не заставит себя ждать долго. Силы, осуществившие убийство, оказались много дальновиднее, чем предполагалось, и, сознавая это, я склоняю голову и покоряюсь. Единственное, что удерживает меня от самоубийства — долг перед потомками, которым я обязан раскрыть правду хотя бы при помощи этой авторучки. И я обращаюсь к будущему вовсе не из любви к патетике — просто не сомневаюсь, что даже если записи будут обнародованы (а это едва ли вероятно), то к содержанию их современники останутся глухи по крайней мере еще лет двадцать...

Должен признаться: садясь вчера ночью за письменный стол, я выпил больше обычного. К тому же эти три дня окончательно взвинтили мои нервы. Наверное, поэтому, щеголяя сомнительной иронией, я впал в какой-то совершенно французский романтизм, отчего вчерашние фразы страдают чрезмерной велеречивостью. (Между прочим, было бы любопытно проследить мотивы столь неожиданных культурологических экскурсов. Вот пицца психоаналитикам!) Однако, за исключением этих загадок подсознательного и некоторого эпатажа, все написанное мною накануне — отмечаю это с удовлетворением — сохранило абсолютную адекватность действительному положению вещей. И теперь, после душа и кофе, я надеюсь довести начатое до конца, тем боле, что еще сутки у меня как будто бы есть...

Как известно, Диктатор был убит тремя выстрелами в упор в ночь с 17 на 18 июля. Тело его было обнаружено в половине третьего ночи на заднем сиденье такси, стоявшем при выезде из Центрального Тоннеля. Сидевшие впереди шофер и личный телохранитель Диктатора были застрелены в затылок, их трупы, согнутые и отброшенные выстрелами к лобовому стеклу, равно как и труп Диктатора, преступники, очевидно, не трогали. Мотор машины работал вхолостую. Таковым было первое сообщение, поступившее в Магистрат от сержанта дорожной службы, совершавшего свой очередной ночной объезд.

Переходя к дальнейшим разъяснениям, я вынужден вернуться назад, к событиям, предшествовавшим убийству, а чтобы ответить на sacramентальный вопрос газетчиков, как оказался Диктатор в ночном такси, мне придется пойти на раскрытие целого ряда государственных тайн — тем не менее делаю это со спокойной совестью, поскольку главной моей целью является истина, а секретность многих данных потеряла уже всякий смысл.

Примерно за неделю до убийства по Острову поползли слухи о готовящемся покушении. Впрочем, «поползли» — неудачное слово, так как распространение их было до такой степени стремительным, что через день-другой после первых шепотков об этом только и говорили. И хотя среди прочего рассказывалось множество нелепостей вроде того, что созвездия уже переместились, а пресная вода стала солонее морской, нельзя не признать, что разработка слухов была безупречной: называлось даже точное время убийства. Не было никаких сомнений в том, что все эти рассказы, обильно приправленные простонародной мистикой, являлись намеренной акцией, сеющей смуту и панику. К сожалению, несмотря на достаточное количество тайных осведомителей, установить источник слухов так и не удалось. Высказывались, правда, версии относительно Ассоциации Журналистов, Молодежного Союза Неприкасаемых и т. д., но сведения оказались неаутентичными. Размах и быстрота распространения информации свидетельствовали о могуществе и глубочайшей законспирированности организации, взявшей на себя роль тайного осведомителя Острова. Между прочим, иногда намекали даже на причастность Магистрата Расследований к фабрикации слухов, и теперь я могу сказать, что это была не совсем неправда. Я действительно воспользовался ситуацией и предпринял все возможное, чтобы Диктатору постоянно доносили о зловещих сплетнях, пересказываемых в правительстве и народе. Дело в том, что в последнее время Диктатор потерял свойственную ему прежде уравновешенность, приступы мании преследования все чаще сменялись поразительной беспечностью, так что он пренебрегал порою не только услугами магистрата, но и выезжал иногда почти без охраны. Было необходимо поэтому напомнить ему о реальной угрозе и настроениях, царящих на Острове. Однако сделанное мной в этом направлении не идет ни в какое сравнение с внушительностью сведений, передаваемых ежечасно в мясных лавках и кафе. Я не верю, разумеется, ни в вещие сны, ни в плачущих жеребцов Цезаря, но теперь (как ни абсурдно это звучит) мне кажется ясным, что покушение было не только заранее и тщатель-

но спланировано, но и каким-то роковым образом predetermined...

Итак, слухи растекались, и это возымело действие даже сверх ожидаемого. Диктатор сделался нервозен, подозрительность его стала невыносимой. Наконец, было решено спровоцировать заговорщиков, разрубив тем самым гордиев узел, покончить со смутой. 16 июля во всех газетах было объявлено о том, что сразу после традиционного субботнего балета Диктатор проследует в Малый Дворец на экстренно созываемый Совет Магистров. Объявление это, понятно, было приманкой. Должна была сработать изобретенная мною система двойной защиты. Выехавший из театра у всех на виду бронированный «форд» в сопровождении четырех машин охраны и обычного эскорта ревущих мотоциклов вез в ту ночь не Диктатора, а его двойника, о существовании которого знали лишь я, Диктатор и сам двойник. Диктатор же должен был тайно отправиться объездным маршрутом в обыкновенном «мерседесе» с тремя телохранителями полчаса спустя после эскорта. Никто, повторяю, никто, кроме нас троих, не знал о двойнике, и заговорщики (если таковые имелись) не могли не клюнуть... Предполагалось, на случай, если убийство запланировано в здании Дворца, что Диктатор попадет туда с опозданием в час от назначенного времени через подземный ход, люк в который был замаскирован в подъезде жилого дома за два квартала от Дворца, а к этому времени покушение уже совершат, двойник будет убит или ранен, заговорщики — схвачены...

Все детали операции я обговорил с Диктатором с глазу на глаз накануне, и вначале все шло строго по плану. Через полчаса после отправления кортежа, когда толпу у театра уже разогнали и люди были выстроены вдоль тротуаров для традиционных приветствий, с театральной стоянки выехал голубой «мерседес» и повернул в противоположную от Дворца сторону... Еще через 18 минут мне сообщили, что в «мерседесе» нет Диктатора, вместо него доблестные телохранители оберегают второго двойника, сам же Диктатор в сопровождении единственного охранника отправился к стоянке такси. Моей первой реакцией было возмущение и ярость: Диктатор, дошедший в своей подозрительности до предела, очевидно, решил «перестраховаться» и, обойдя меня, обеспечить себе безопасность самостоятельно. Затем мною овладел ужас, поскольку я сразу понял всю непоправимость совершаемой Диктатором ошибки. Беда состояла еще и в том, что это сообщение было получено мной, вообще говоря, по чистой случайности. О решении Диктатора воспользоваться такси передал по селектору напуганный неизвестно чем личный его врач, которого мне с большим трудом удалось перевербовать всего за полгода до описываемых событий. Этот совершенно неприступный старикашка не поддавался до тех пор, пока не выяснилось, что он чудовищно сластолюбив и страдает к тому же садистскими наклонностями, от которых, будучи студентом, даже пытался излечиться, живя в Цюрихе под чужой фамилией. Я сумел под видом сбежавшей из дома дочери весьма почтенных родителей подсунуть ему на ночном пляже одну тринадцатилетнюю проститутку из Южных Кварталов, а затем, шантажируя через подставных лиц привлечением за растление малолетних,

тайно и явно вытягивал из него все, что касалось врачебных и личных тайн Диктатора. Не будь этого старого развратника, ни я, ни кто-либо еще никогда не узнал бы, почему Диктатор оказался в салоне такси. А в тот момент я был поставлен перед страшным фактом: абсолютно беззащитный Диктатор разъезжает по столице в самой обычной машине, и с ним — один (!) телохранитель. Нужны были немедленные меры. Я легко вычислил, что единственный оставшийся путь к Дворцу пройдет через Центральный Тоннель.

Я уснул прямо за столом: жуткая усталость. Никогда не думал, что писательство настолько изнурительно. Меня неудержимо тянет лечь, но время заставляет торопиться. Боюсь только, что кончатся сигареты. Продолжаю.

Уверенный в собственной недостигаемости Диктатор, применив двойную подстановку, отправился во Дворец на такси. Но он и предположить не мог, что, нарушая условия первой игры, он вступает в другую, гораздо более опасную.

Здесь нужно несколько слов сказать о созданной мною системе двойников. Заранее отвожу всякие обвинения в невежестве и нисколько не интересничаю, называясь автором системы.

Общеизвестно, что идея использования двойников в политической игре не нова. К услугам так называемых «дублеров» прибегали еще вавилонские и египетские жрецы. Оттуда *tour de force* перекочевал в Иудею, Грецию, затем Рим, Европа, иезуиты и так далее вплоть до новых времен. Достаточно вспомнить знаменитую «Железную маску», чтобы убедиться в живучести и плодотворности приема. Всевозможные лжемонархи и самозванцы, которыми кишит история, суть не более чем вариации этого древнейшего из ритуальных игрищ. Тем не менее со всей компетентностью заявляю, что лишь во вверенном мне Магистрате идея двойников достигла своего наивысшего и наиболее отточенного исполнения.

Едва вступив в должность Первого Магистра Расследований, я убедился, что важнейшей задачей моей является охрана личности Диктатора. Так же ясно было и то, что ни бронированные автомобили, ни новейшие системы прослушивания, ни целая армия вооруженных солдат не могут служить надежной защитой от покушения и уж тем более не гарантируют отсутствие заговора. Единственно приемлемым и радикальным средством, на мой взгляд, должно было стать создание системы, при которой ни один человек не смог бы с достоверностью определить, где в данный момент находится Диктатор. Двойники — и притом не отдаленные, приблизительные, намекающие, а почти абсолютные — оказались именно таким средством.

Не буду говорить о том, сколько времени и сил ушло на поиски и подготовку двойников Диктатора. Одного из них нашли прямо на Острове, в рыбацком поселке, но он годился не на все случаи, другого пришлось вывезти из Франции, зато ему выпала честь стать главным, так сказать, заместителем Диктатора во всех практически ситуациях. Незачем рассказывать о пластичес-

ких операциях, бесконечных уроках по риторике, орфоэпии, этикету, мимике, о занятиях с логопедом и имитатором голосов — обучении всему. Что делал или мог делать сам Диктатор.

Итогом этой грандиозной работы было то, что Диктатор мог появляться одновременно в двух (при необходимости — в трех) местах. Представилась возможность замещать Диктатора даже на дипломатических приемах и званых обедах, и никто из присутствовавших не догадывался о подмене. Много раз я наблюдал, как фанатичная толпа, визжа от восторга и трепета, приветствовала Диктатора где-нибудь во Дворце, на площади или стадионе, не подозревая даже, что перед ней — просто живой манекен, а подлинный Диктатор мог находиться в эту минуту на каком-нибудь секретном совещании, либо просто спал у себя дома. Бывали случаи, когда двойнику из Франции приходилось принимать послов и отдавать распоряжения Магистрам, в то время как сам Диктатор выезжал инкогнито на охоту. Местный двойник не мог справиться с ролью такого уровня, но он был совершенно незаменим на праздниках, футбольных матчах и прочих сборищах, чреватых покушением. Само собой разумеется, что двойники жили изолированно, под стражей, и ничего не знали о существовании друг друга, полагая каждый себя единственным в своем роде. Наконец, на случай ранения или убийства кого-либо из них, мною, втайне даже от Диктатора, был заготовлен и третий, находившийся в подвале Магистра под неусыпным наблюдением.

Почти двенадцать лет безукоризненной работы двойнической системы полностью подтерли ее неуязвимость. И хотя поначалу Диктатор не принимал мой метод всерьез и даже посмеивался нередко, говоря, что я начитался средневековых гебраистов, потом, после раскрытия с помощью двойников трех заговоров, оставил насмешки и о детище моем отзывался с неизменным восхищением. И позднее, когда из соображений вящей безопасности бывало нужно выставить двойника, и Диктатору приходилось подчас лишаться некоторых удовольствий — не посещать оперу, балы и тому подобное, — он не спорил и подчинялся безоговорочно. «Знаешь, — сказал он мне однажды как будто в шутку, — я и сам иногда путаю, где я, а где — они, когда смотрю телевизор,» — и засмеялся грустно. Это было высшей похвалой. Время и способ подстановки я обсуждал только с Диктатором, о реальном же его пребывании всегда знали лишь мы двое, иногда — единственный телохранитель, еще реже — врач, настолько надежный, что на перевербовку его у меня ушло почти восемь лет...

Не странно ли: рассекречивая важнейшую информацию, я испытываю сейчас вместе с ужасом и некоторое облегчение — и Гамлету было ведомо, каково разделять тайны с небом. А ведь ни Диктатору, ни кому-либо другому, ни одной душе на Острове не было известно самое главное: система двойников имела свое логическое и куда более значительное продолжение.

Я не оговорился, сказав вначале, что обладал до недавнего времени беспредельной властью. Это необходимо должно быть так, поскольку истинная

власть всегда скрыта, лишена помпы и осознанна только властителем, но не подданными. Все эти годы Диктатор, конечно, правил Островом, но судьбы людей вершил я, ибо подлинная власть состоит не в бездумном поклонении толпы и не во взглядах, опускаемых в притворном смущении или страхе, а в тайном осознании того, что ты можешь все, но об этом не подозревают. Именно я руководил мощнейшей разведкой, я наладил связи с уголовным миром, ко мне стекались доносы бесчисленных осведомителей, в моих архивах хранились тысячи готовых к использованию досье. И я полагаю такое положение естественным, потому что Диктатор всего-навсего олицетворял собой внешнюю сторону власти, но не мог и не должен был повелевать на деле, так как власть держится лишь до тех пор, пока не осознается как власть. И я был тем источником, откуда исходила эта скрытая, никем не ощущаемая сила.

С того времени, как я окружил Диктатора двойниками, он не мог и шагу ступить без меня. Просыпаясь утром, он не знал, что будет делать через час, где окажется, когда и кто его подменит, а мне было на месяц вперед известно каждое его движение. Наконец, если уже зашла речь о двойниках, то у Диктатора их было фактически двое (запасной не в счет), я же имел четверых, функционирующих непрерывно.

Готовя дублеров для Диктатора, я очень скоро понял, что для его же безопасности куда более важно уберечь от покушения Первого Магистра Расследований. Мне пришлось создать вторую сеть двойников, хороня эту тайну в себе. Нечего и говорить, что это потребовало несравнимо больших затрат и времени. Господин Дегрэ должен был стать вездесущим и неуловимым, его должны были пугаться как привидения. Три года ушло только на поиски. Первого доставили из Лиссабона, второй оказался бельгийцем. С ними было много возни, но в итоге они могли выполнять лишь самую примитивную работу: разрезать в автомобиле, мелькать в окнах особняков и тому подобное. Зато потом мне неслыханно повезло, когда вывезли из Северной Италии двух братьев-близнецов. Я прозвал их Ромул и Рем. Ребята оказались исключительно способными, особенно Ромул. Уже через год я мог доверять им самые рискованные поручения, а сообразительный Ромул даже выезжал несколько раз к месту незначительных происшествий.

Я обеспечил двойников всем необходимым, хорошо оплачивал каждый выезд, ограничил, разумеется, возможность их передвижения, установил наблюдение и с тех пор впервые ощутил вкус настоящей свободы. Я смог избавиться от всякой охраны, бывать там, где захочется, оставаться сколько угодно долго в одиночестве, не опасаясь выстрела в затылок.

И прежде, до приобретения двойников, я никогда не жил, вопреки сплетням, в отгороженной зоне под защитой целого батальона автоматчиков, а с появлением Ромула и Рема отпала нужда и в обычном телохранителе. Между прочим, глубоко ошибаются те, кто рассказывает сказки о якобы принадлежащих мне и моим чиновникам дворцах на побережье, огороженном тремя рядами колючей проволоки с постами через двести метров. Такая зона действи-

тельно существует, но никто, даже Диктатор не знал, что патрули охраняли заурядные, хотя и очень пристойные декорации, заполненные бутафорской мебелью и муляжами, а так называемый «дом Дегрэ», о котором нашептывали под большим секретом, в течение десяти лет занимал Ромул, сменяемый в отсутствие своим братом. Мой настоящий дом давно никем не охраняется. Он стоит в стороне от псевдозоны, за Долиной Дюн, на краю старого соснового леса у самого берега. Я добираюсь сюда на машине по подземному пятикилометровому тоннелю, прорытому вдоль побережья. На пять-семь километров вокруг — ни единой души. Когда-то здесь было огромное кладбище, лет сорок назад его заровняли, так что никому и в голову не приходило искать меня в этом пустынном месте. Мой дом — небольшая двухэтажная вилла, где нет ничего лишнего и все функционально: вверху — кабинет и спальня; гостиная, курительная, библиотека — внизу. Со всем хозяйством прекрасно справляется чета старых фальшивомонетчиков, приговоренных некогда к смерти и выжженных мною прямо из тюрьмы. Они верны мне, как псы, размещаются здесь же внизу, выезжая раз в неделю за покупками. Я живу один и не люблю, когда в доме скапливается много вещей. На моем письменном столе — только то, к чему я привык: пепельница, рабочие бумаги, маленькая массивная лампа, дающая яркий, но совсем крохотный круг света. Справа в нише, под рукой — селектор, обычные и радиотелефоны, прочая техника. Два или три раза в неделю у меня бывает Хельга. Она шведка, но ее бабка родилась в России. Ее родители попали на Остров еще до закрытия границ и купили ресторанчик на побережье, где я и нашел ее шесть лет назад — она работала за стойкой. Сейчас ей 25, она немного капризна, но очень мила, довольно изобретательна в любви и, кажется, искренне ко мне привязана. Единственное, что раздражает в ней, — дурацкая привычка листать без разбору журналы, сидя на полу по-турецки, и при этом еще курить, запивая дым чаем из блюдца. Говорит, это у нее славянское... Я всегда сам заезжаю за ней и сам отвожу обратно. Конечно, она знает многое, но я ей верю. К тому же, за ней, само собой, следят и при первом подозрении застрелят на месте, если мне не вздумается ее почему-либо спасти.

Я, однако, увлекся: мои записи начинают приобретать все более исповедальный характер. Это, наверное, вполне объяснимо, но совершенно излишне. Мне нужно было рассказать о двойниках, потому что иначе не разъяснить остального. Беда в том, что еще неделю назад я и подумать не мог, какие чудовищные возможности политического манипулирования открывает мною же созданная система.

Итак, Диктатор сел в такси. Дорога через Центральный Тоннель к Дворцу была самой длинной, можно было еще кое-что успеть, но время поджимало. В момент получения сигнала от врача я находился в машине километрах в четырех от театра. Признаюсь, в ту минуту я понятия не имел, что делать — знал только, что такси необходимо перехватить. Я вызвал по телефону Ромула и приказал ему срочно выехать параллельным со мной маршрутом: во-первых.

он подстраховывал меня на случай нападения, во-вторых, никто лучше него не смог бы сориентироваться в обстановке и собрать точную информацию обо всем замеченном. Сам же я немедленно отправился за такси... Хотел сократить путь, но, как назло, один из переулков был перекрыт из-за дорожных работ — я потерял на объезде еще минут восемь. Пересек Вокзальную площадь, свернул и через Большие Аллеи выскочил наконец на прямой, как луч или стрела, Центральный Проспект. Полчаса, словно сумасшедший гнал машину, пока не загудел телефон и дежурный из Магистрата не сообщил, заикаясь, о труп Диктатора на заднем сиденье... Мне оставалось теперь только подъехать на малой скорости к Тоннелю и, изумляя сержанта оперативностью, начать осмотр.

Я опоздал на каких-нибудь двадцать минут! Даже сейчас не могу передать чувств, испытанных мною при виде убитых. Кажется, я разрыдался...

Напрасно болтают в Магистрате о давней вражде, якобы разделявшей меня и Диктатора. Почти 25 лет, со времени учебы в Кембриджском Тринити-колледже, нас связывала прочная, искренняя дружба. И поныне самые нежные из моих воспоминаний: узкие оконные переплеты, холодноватый запах книг в библиотеке, ветер регаты<sup>1</sup>, длинные, словно дымящиеся тени спиц на лужайках и снова окна, тускло мерцающие сумеречным багрянцем, — везде мы были вместе, я и Диктатор, хотя он был на два года старше. Нас сближала любовь к Вагнеру, спорт и неумная страсть к языкам. Знаю, рассказывают еще нелепую историю о девушке, будто бы «отбитой» у меня Диктатором в юности, трактуя наши с ним отношения совершенно в духе венской психиатрии. Правда, я всегда был несколько робок с женщинами, а он в компаниях блистал остроумием, поражая всех изяществом и эрудицией: Ивонна, с которой мы встречались почти полтора года, действительно стала его первой женой, но никогда до этого она не была в постели со мною.

Наконец, именно благодаря мне вошел будущий Диктатор в клуб рэндзюистов и стал его завсегдатаем. Именно я был его первым учителем, открывшим ему сокровенные тайны этой древнейшей эзотерической игры, я затем сделался его главным и наиболее опасным партнером по игре, а, как известно, нет ничего прочнее и долговечнее, чем братство интеллектуалов, почитателей рэндзю. И потом, когда он только начинал карьеру палатника, а я прозябал в адвокатской конторе, и позднее, когда он достиг вершин, а я занял пост Первого Магистра — всегда нас объединяла рэндзю, и если осложняло порой нашу дружбу некое подспудное соперничество, оно ни при каких условиях не могло бы поколебать единства двух умов, постигших величие и красоту этой игры.

Со студенческих лет я предпочитал рэндзю шахматам и преферансу. Эта

---

<sup>1</sup> Очевидно, имеются в виду традиционные состязания экипажей — восьмерок, устраиваемые ежегодно между командами студентов Оксфордского и Кембриджского университетов — (прим. ред.)

старейшая из разновидностей Го и Сугороку, уходящая корнями в дописьменную историю Азии и лишь столетие назад пришедшая к нам, уступает, разумеется, шахматам в популярности: круг ее приверженцев чрезвычайно узок, зато все они отличаются незыблемой сплоченностью и стойким презрением ко всем прочим играм. Многие, я знаю, по недомыслию считают рэндзю примитивом. Сущность ее в самом деле до гениальности проста: равномерно рассеченное ячейками поле и ограниченный набор фишек разных цветов. Задача игрока — выстроить, прямо либо по диагонали, ряд из пяти фишек, не дав то же самое сделать противнику. Единственное, что требуется от играющих, — вести с возможной твердостью свою линию и следить одновременно за соперником, отрезая цепочки его фишек своими. Эта внешняя простота и доступность рэндзю естественно наводила на мысль о примитиве, отвращая от нее большинство интеллектуалов. Шахматы были, несомненно, богаче числом и многообразием комбинаций. Однако рэндзю обладала некой изначальной магической однородностью, столкновение с которой приносило невыносимое наслаждение. Лишь немногие, наиболее терпеливые смогли по достоинству оценить это качество, так что клуб рэндзюистов со временем стал исключительно замкнутой средой утонченных игроков — аристократов, ревностно оберегающих свою кастовость.

Я вообще, вслед за Паскалем и Борхесом, склонен видеть в игре не столько проявление скуки, сколько универсальный язык наших отношений с судьбой; во всяком случае, есть что-то до странности схожее между чувствами человека, склонившегося над доской с фишками, и нашим, непрерывно двоящимся восприятием действительности: то спокойное смирение перед фатумом, то неясное, но всем знакомое ощущение условности происходящего, точно все случается не здесь, не сейчас и не с нами. И это извечное удвоение жизни и есть, видимо, источник всех загробных миров, философий и неистребимой страсти к играм. Ведь и шахматы воспроизводят всего-навсего битву императорских армий.

Рэндзю в этом отношении всегда казалось мне высшим проявлением мудрости. Для этой игры, с ее раздваивающимися рядами, при всем внешнем однообразии, необходимы были мужество и неслыханное напряжение сил. Всякий раз, начиная, думаешь, что достаточно не упускать из виду вражеские цепочки и вовремя их прерывать, но с каждой новой фишкой количество рядов катастрофически растет, пока в минуту предвкушения победы не окажется вдруг, что проглядел целую линию и проиграл. Японские монахи полагали, что рэндзю недоступна юнцам и подонкам: никакая игра не требует в такой степени внутреннего сосредоточения, стойкости и прилежного внимания к жизни. Нередко, в часы усердных занятий, я пытался, по примеру Николая Кузанского, вообразить доску с краями, разбегающимися в бесконечность, и рэндзю превращалась тогда в некую метафору судьбы, в чьи перепутья как ни вглядывайся — главного ответвления не заметишь.

На два года позже меня стал Диктатор членом клуба, и притом одним из

ведущих его членов. Он обладал каким-то природным чутьем к рэндзю, слыш едва ли не первым игроком, хотя, мне кажется, никогда не осознавал в полной мере всей глубины игры. Он глотал, конечно, как и все мы, непрменные для тех времен писания Гессе и младшего Манна, и все же рэндзю оставалась для него очередной азартной забавой. Однако, и ему довелось испытать на себе ее притягательную силу — и поныне рэндзю — одно из самых прочных его увлечений. За эти годы мы дважды сменяли друг друга на весьма почетном, хотя и символическом посту председателя клуба, каждому из нас выпало прочесть в клубе лекцию по истории и эстетике рэндзю — честь, оказываемая немногим. С тех пор, вот уже двадцать с лишним лет, несмотря на всевозможные перипетии, мы пренебрегаем лобными делами ради традиционной партии в пятницу. Наша игра длится часами. Нет числа вопросам, вплоть до государственных, обсуждаемых нами за доской у меня в курительной либо в особняке у Диктатора..

Странно — по привычке я все еще говорю о нем в настоящем времени. Как трудно мириться с утратой...

Накануне покушения мы играли у меня. Здесь же была детально продумана подстановка и ловушка для предполагаемых террористов. Диктатор нервничал, без конца сдергивал с носа очки и тер глаза. На пухлой верхней губе дрожали капельки пота. Он пил кофе чашку за чашкой, подливая туда неумеренно коньяку. Помню, в ту минуту мне стало даже как будто жаль его. Как ни смешно, мне понадобилось полжизни, чтобы за уверенными манерами и медлительным баритоном разглядеть мнительного и, в сущности, трусливого человека. Неужели, подумалось, стоило закрывать границы, создавать невиданный аппарат слежки и охраны, чтобы вот так теперь страшиться слухов?

Наша партия затянулась. Мы играли уже около шести часов, пока наконец не решили отложить до следующей пятницы. Ситуация на доске была неровной, чтобы не сказать двусмысленной. Тем не менее я проводил по-прежнему взвинченного Диктатора, будучи совершенно уверен в собственной победе и в успехе завтрашней операции...

Меня обуял ужас, когда, вернувшись через десять минут в курительную, я взглянул на доску и увидел, что Диктатору просто не хватило терпения: через три хода неминуемо выстраивался его пятифишечный ряд, а мое положение было безнадежным. Тяжкое предчувствие беды всю ночь не давало мне уснуть.

И вот, сутки спустя, неукложе откинутое к автомобильной дверце, лежало предо мной окровавленное тело насмерть перепуганного человека, который потерял в нелепой своей подозрительности веру в единственно преданного ему друга, решил перехитрить всех и, желая поиграть в детектив, узурпировал право на собственную охрану. Я не слышал лепет сержанта, у которого зуб на зуб не попадал от страха и утренней сырости. С самого начала было ясно, что в лице убийц Диктатора я столкнулся с силой, мне прежде не ведомой. Так же ясно было и то, что всякое традиционное следствие, оснащенное бесчисленными экспертизами и доносчиками, мгновенно утратит секретность и за-

ведет в тупик. Поэтому, вступая в противоборство с соперником такого масштаба, я передал официальное расследование своим сотрудникам из отделов, допуская тем самым сознательное раздвоение версий и позволяя прессе досыта кормить публику ежедневными «отчетами». Подлинное дознание мне пришлось проводить тайно, почти в одиночку.

Убийство, совершенное с такой быстротой и четкостью, говорило о могуществе и чрезвычайной дисциплинированности террористов. Выстрелы были произведены минут за двадцать до появления сержанта и примерно за полчаса до моего приезда. Преступники могли уйти только на машине. Лишь через час удалось прочесть (разумеется, впустую) ближайшие кварталы и арестовать владельцев всех стоявших поблизости автомобилей. (Через день газеты сообщали, что один из них, хозяин маленького кафе, «сознался в причастности к заговору», но это была откровенная «липа»: никто из этих людей не имел к ночным событиям никакого отношения). Несмотря на все усилия, оружие, из которого стреляли, так и не было найдено (впрочем, на это и не надеялись). Дактилоскопия дверных ручек, стекол и других поверхностей такси также ничего не дала — убийцы, похоже, были осторожны. К тому же загадкой оставалось, каким образом, вопреки различным ухищрениям, заговорщики смогли выследить Диктатора и, самое главное, как сумели войти в машину? Этот последний вопрос был особенно тревожен, поскольку и шофер, и телохранитель, и, наконец, сам Диктатор были застрелены в упор, а значит, стрелявший не просто сидел рядом с Диктатором, но смог еще некоторое время говорить с ним, ни в ком не вызывая подозрений, — ведь никаких следов борьбы в машине не обнаружили.

Кто был этот четвертый? Подсел ли он незадолго до убийства или был в машине сначала? Зная характер Диктатора, я решительно отверг последнее: уже много лет, прячась от дел или заговора, он оставлял при себе единственного телохранителя-смертника и уж, конечно, ни за что не взял бы в дорогу лишнего человека. Получалось, что убийца спокойно сел в такси к Диктатору, чтобы через несколько минут так же спокойно уложить троих ехавших в нем людей. Известно, что наши таксисты никогда не берут попутных пассажиров, следовательно, четвертый не мог быть «случайным грабителем» — ничто не заставило бы Диктатора приказать таксисту притормозить и впустить первого встречного, да еще ночью, да еще в такой ситуации.

Ухватившись за это, мои недоумки-следователи тут же сочинили весьма изящную версию о многолетнем, зреющем среди черни заговоре, главная роль в котором отводилась таксисту и телохранителю. Им надлежало якобы подсадить в машину убийцу-исполнителя, а тот, по замыслу центра, должен был вместе с Диктатором прикончить их самих как свидетелей. Немедленно были схвачены, основательно допрошены, а частью и расстреляны тут же родственники таксиста, а также все те, кто имел несчастье хотя бы подавать ему пиво в баре, не говоря о близких знакомых. Ретивым ищейкам не удалось только разыскать никого, связанного с телохранителем, исключая двух соседей

по казарменным нарам. Тем не менее очень скоро были выявлены и «лидеры», и «явочные квартиры», и даже «документы», подтверждающие длительное существование заговора, а наша блудливая пресса не преминула растрезвонить на весь Остров о раскрытии «крупнейшей террористической группировки» и систематически знакомила публику со всеми «подробностями». Между тем совершенно очевидна была абсурдность этой так называемой версии. Во-первых, непонятно, зачем двоим заговорщикам, для одного из которых убийство — профессия, нужно было впускать третьего. Телохранитель, вообще говоря, мог тогда и вовсе обойтись в одиночку, проделав все и раньше, и чище, и не обязательно в салоне такси. Во-вторых, даже если необходимо было устранение очевидцев, не ясно, как и откуда могли узнать они о намерении Диктатора взять такси, когда сам он замыслил этот ход, быть может, за час до выезда...

Я предпочел объяснение более простое и логичное. Ни телохранитель, ни тем более таксист ни в каком заговоре не состояли и об убийстве, естественно, не помышляли (таксист, скорее всего, вообще не предполагал, кого везет). Большую часть пути они миновали без осложнений: успокоенный и, по-видимому, очень довольный собой Диктатор откинулся к спинке, с улыбкой поглядывая на пролетающие мимо огни. Не доезжая немного до Тоннеля, они увидели на тротуаре голосующего человека, чей вид если и насторожил, то отнюдь не испугал Диктатора — он велел остановиться и сам открыл дверцу... Мирно проехали Тоннель, почему-то встали, и вот здесь попутчику каким-то загадочным способом удалось так заговорить всех, что через минуту он не спеша пристрелил телохранителя с таксистом, а затем самого Диктатора. После чего вышел и скрылся на машине, заранее оставленной неподалеку.

Я был почти уверен, что события разворачивались именно так, хотя, конечно, многое по-прежнему оставалось необъяснимым. И все же более, чем утечка информации меня интересовал этот таинственный некто, перед кем Диктатор без колебаний распахнул дверцу. Даже если допустить, что тогда у Тоннеля мог оказаться кто-то из Магистров или другой член правительства, какой-нибудь генерал или, наконец, родственник Диктатора — даже если предположить, повторяю, самую немислимую возможность этого — ничье появление не сломало бы извечного страха Диктатора и не заставило бы его остановиться. На Острове существовал только один человек, которого он рискнул бы посадить с собой рядом. И как ни казалась мне подобная мысль кошмаром, этим человеком мог быть только я — я сам.

Я все-таки не выдержал и проспал еще часа полтора. Уже ночь. Без четверти три. Осталось не так много.

Проглядел сейчас написанное: забавно, но, кажется, из меня получился бы приличный беллетрист, сочинитель детективов, если нашелся хотя бы один человек, согласившийся поверить в то, что все изложенное я сумел выдумать.

Впрочем, глупости. За много лет я не смог прочесть без омерзения ни еди-

ной страницы так называемой литературы. К тому же, я всегда был убежден, что ничего существенно нового сказать уже нельзя, что всякое произведение, устремляясь к наиболее завершенной форме, должно интуитивно подражать чему-либо классическому вроде венка сонетов, где каждая конечная строчка есть лишь очередное начало, а все в целом — непрерывный, на себе замыкающийся круг. Теперь, однако, мне не до литературных тонкостей. Еще недавно, мучаясь над разгадкой обстоятельств убийства, я начал все чаще ощущать близкий холодок безумия. Моя мысль часами блуждала по кругу, неизменно возвращаясь к прежнему ошеломляющему выводу: только для меня Диктатор посмел бы остановить такси. Я был настолько раздавлен, что совершенно не мог сосредоточиться и разобрать донесения, поступавшие по скрытым и официальным каналам.

Решение пришло само собой, когда мне сообщили о бегстве двойников Диктатора — оба пропали почти одновременно. Местного, правда, засекли на вокзале — он начал отстреливаться, ранил двоих, через пять минут кретин-служака прикончил его самого. Француз же, пользуясь неизвестным «окном», сумел ускользнуть, и след его затерялся в направлении побережья. Конечно, каждый из них, перепутавшись и слишком чувствуя двусмысленность своего положения, свою теперешнюю ненужность, — каждый из них мог решиться на побег вполне самостоятельно. Но что если все это не было обычным следствием страха, а являлось частью долговременной, детально продуманной операции? Сознаюся: лишь тогда, в тот критический момент я впервые понял то, что мне давно следовало бы предвидеть.

Двенадцать лет двойники составляли гордость моей работы. Созданная мной система практически исключила всякие контакты между ними, но нельзя же было вовсе устранить принципиальную возможность такого контакта. И вот если эта связь каким-либо образом была установлена, если, помимо всего прочего, двойники Диктатора объединились с двойниками Дегрэ — последствия оказались бы непредсказуемыми. Можно было бы, например, объявить подлинного Диктатора самозванцем, интернировать его и передать власть двойнику-марионетке. Можно просто шантажировать Диктатора его же дублером. Можно захватить целые провинции с помощью подстановки. Можно, наконец, отдавать приказы от имени Дегрэ и направлять террор в какую угодно сторону, вплоть до полного захвата власти. Эта мысль пронзила меня, словно током. Столько лет я жил, полагая, что жизнь Диктатора и моя защищена от лобых неожиданностей, а главную опасность проглядел у самого носа. Двойники! Заговор двойников.

Значит, кто-то из моих дублеров голосовал той ночью перед такси, кто-то из них беседовал с Диктатором, стрелял... Темная догадка уже томила меня, когда я отдавал распоряжение арестовать всех четверых.

Часом позже неизбежность катастрофы стала очевидной: по селектору передали, что удалось задержать лишь троих, Ромул исчез. Ромул, верный мой Ромул, конечно... Но откуда узнал он, как смог успеть? Я взглянул на селек-

тор, и всякие сомнения отпали: ничего элементарней нельзя было придумать. Год назад я доверил Ромулу автомобиль с радиотелефоном — он, единственный из двойников, мог при необходимости говорить из машины, делая вид, будто находится дома. Остальное было ясно, как партия рэндзю.

Он ничего не узнавал и никуда не торопился, он все просчитал заранее. В ночь перед убийством, наверное, через час после того, как Диктатор вернулся от меня, Ромул явился к нему (а может, и позвонил, не важно) и предупредил под видом Дегрэ, что заговорщики проникли в высшие сферы, опасность велика и проч. — словом, он внушил Диктатору, что в «мерседес» на всякий случай нужно посадить второго двойника, а самому отправляться на такси с телохранителем. Если учесть поразительную артистичность Ромула, его способность к имитации, поздний час, сонного Диктатора, то расчет был верный. (Убивать же Диктатора в доме, полном охраны, было бы равносильно самоубийству).

События следующего дня развивались именно так, как предполагал Ромул — он предусмотрел не только поступки Диктатора, но и все то, что буду делать я. После спектакля Ромул заранее отправился на своем автомобиле к Тоннелю — он прекрасно знал, что через 15, максимум 20 минут меня уведомят о тайном выезде Диктатора, он знал, что я вынужден буду в одиночку броситься за такси, а предварительно позвоню ему с приказом выезжать. Он спокойно выслушал меня по телефону, сидя в машине и поджидая Диктатора, пока я мчался вдогонку. Меня сбывали дважды в тот вечер: Диктатор, затем Ромул...

Далее, полагаю, он вышел на тротуар, и таксист притормозил. Ромул-Дегрэ подсел к изумленному Диктатору, и, пока проезжали тоннель, нашептал что-нибудь насчет коварства террористов, подкупивших телохранителя. Сказал, видимо, что, по последним данным, такси — подставное, впереди ждет засада, Диктатора готовятся похитить, после чего предложил остановиться и пересесть в его машину. Когда остановились, всадил по пуле в затылок телохранителю и шоферу, объяснив Диктатору, что иначе не выйти, и тут же расстрелял его в упор. Потом выскочил, вернулся бегом в машину и встал на место, указанное мной, — за два квартала до Тоннеля.

Я не знаю, что они собираются делать дальше. Возможно, объявят, что по счастью, убит не Диктатор, а двойник, и на Острове воцарится прежний порядок с подставным правителем. Возможно, окажется, что на месте Первого Магистра Дегрэ много лет служил враг нации, самозванец, а подлинный Магистр томился в застенках. Не знаю. Катастрофа неминуема, и хотя газеты еще долго будут уверять в обратном, это — факт. Ромул исчез. Все усилия захватить его безрезультатны. Думаю, он давно уже собрал несколько «верных присяге» батальонов и отдает приказы на штурм Магистра, обещая круглые суммы за голову выскочки-дублера, занявшего кресло Магистра Расследований. Впрочем, это домыслы. Единственное, в чем я уверен сейчас — в собственном бессилии. Прощаюсь и с последним прибежищем моим — бумагой. Я уложу эти записи в металлический чемоданчик (подарок Хельги) и отправлюсь завтра, то

есть уже сегодня утром в Магистрат в надежде спрятать истину для потомков.

Я нечеловечески устал.

Вот если б пожить неделю здесь, на берегу, среди сосен. Я вставал бы к завтраку, гулял по шесть часов в день, слушая песок и волны, а вечерами дремал бы в курительной с томиком Светония или Диогена Лаэртского. Неделю бы только, чтобы можно было забыть обо всем на свете: о службе, о двойниках, Диктаторе, о том, в конце концов, что меня зовут Дегрэ».

### *Послесловие редакции*

На этом рукопись обрывается. Содержание ее хотя и проливает определенный свет на недавние события, но все же столь необычно, что мы сочли необходимым сделать некоторые комментарии. Прежде всего, совершенно очевидно, что автор рукописи является убийцей. Об этом свидетельствует, например, эпизод погони за такси, где утверждается, что автора задержали якобы дорожные работы в переулке. Журналистское расследование показало, что такие работы действительно велись на одном из перекрестков близ Центрального Тоннеля. Однако около шести вечера накануне они были завершены и ограждения сняты — следовательно, нас сознательно вводят в заблуждение: этих восьми минут как раз и хватило для совершения убийства и бегства. Выдает автора и неумело скрываемое раздражение, с каким он отзывается о покойном. Но кто же в таком случае оставил нам этот документ? Невозможно предположить, чтобы автором, а значит и убийцей, был в самом деле Его Превосходительство Магистр Дегрэ — человек кристальной репутации, преданный гражданин Острова, чья безупречная 15-летняя служба снискала всеобщий почет и уважение. Мы предполагаем, что создателем этих записок, человеком, убившим Диктатора, является сам дублер господина Дегрэ — Ромул, нагло присвоивший себе имя заслуженного человека и намеренно построивший текст так, чтобы виновность автора бросалась в глаза. Отводя подозрение от себя, он лицемерно обвиняет Ромула от имени Дегрэ, пытаясь убедить нас в том, что последний и есть истинный преступник. Именно такое объяснение представляется нам правдоподобным.

Правда, неясным остается, откуда этому беспардонному типу известна во всех подробностях частная и политическая жизнь Диктатора и господина Дегрэ, однако мы уверены, что уже в следующем номере сможем проинформировать читателей о результатах наших исследований на этот счет. Эксперты-графологи уже приступили к работе.

### *Постскриптум*

Некоторые, наиболее искушенные сотрудники редакции утверждают, что представленный на суд читателей документ — не более чем литературная мистификация, избобличающая способного, но крайне неопытного литератора. Рукопись этого новоявленного Чаттертона перегружена обширными метафизическими отступлениями, а также весьма претенциозными нападками на

прессу вкупе с сентенциями апокалиптического характера, предвещающими некую катастрофу, якобы грозящую нам в скором будущем. А между тем сам факт публикации подобной рукописи — яркое доказательство того, что трагическая смерть Диктатора не поколебала нашей уверенности в себе, нашей свободы и открытости. Целиком доверяя своим читателям, мы публикуем документ без купюр и полагаемся на здравый смысл и всегдашний оптимизм, присущий островитянам. Мы верим, что мрачные пророчества, в какой бы форме они ни излагались, не затмят реалий жизни, так прочно вошедшей в спокойное русло с приходом молодого Диктатора. Мы желаем нашим друзьям, нашим читателям дальнейшего счастья и процветания на благо-словенной земле родного Острова.

1987 — 1988

---

## Игорь Померанцев

---

### ДО ВСТРЕЧИ В «САНТА-КРУС»

**О**браз кофе: восточное вечное время. Если турки кончатся, подхватят — подхватили — их жертвы. На часах в кофейне одна стрелка — вековая. Образ с густым вкусным осадком.

Сильный точный образ — поверх литературоведческой квалификации — имеет самое прямое к жизни. Турецкий кофе подтверждает отсутствие времени. В литературоведческих сметах преодоление паники — это метафоры; поглаживание неодушевленного или одушевленного объекта — эпитеты; нежелание умирать — enjambment.

В Мюнхене или Брюгге нет нужды искать пивные капища — сами тебя находят. Форпост европейского кофе — Португалия. Не так уж много ей оставили, но то что оставили — ее. Кафе «Бразилейра» в Порто — это, фигурально говоря, кофейный храм. Кафе «Санта Крус» в Коимбре, городе студентов, ремесленников и торговцев, — это храм в прямом смысле слова: с высокими потолками, арками, витражами, служителями («Еще чашечку, Инасио!»). Прежде здесь был монастырь. Ныне кафе занимает правое крыло церкви. Здесь можно потолковать о приданом, посудачить о лотерее, здесь можно. Нет, истина не только в вине. Все что связано с сердцем — храм. От пива тяжелеет брюхо. От кофе чернеют зрачки. От вина разбухает печень. От кофе лихорадит запястье. («Беспокойной ночи, сеньор!»). Ясно, не sny тебе смотреть, а перестукиваться с собственным сердцем. А ему есть что тебе сказать, о чем напомнить. Называется захолустье. Да, пока говоришь с собственным сердцем, ты — столица мира. Только не надо всем разом в столицу. Можно встретиться и в другом месте. И все же разок-другой устроим праздник в кафе «Санта Крус» — опасную встречу с самим собой.

### ЖИЗНЬ АНАТОМИИ

**Е**сли долго тереть рукой лоб, то искры из глаз не посыпятся. Но видеть и слышать начнешь иначе. Предметы превратятся в пятна. Лоб становится не высоким или низким, а шуршащим. Ему начнет подпевать пчела, поддакивать швейная машинка, подмахивать вентилятор. Наметится сговор смычковых и щипковых, шипящих и журчащих. Не покидая комнаты, можно очутиться в другом мире, лишь бы рука не устала. Прежде это удавалось только в детстве, когда в отсутствие бабушки можно было примерить ее очки, а в пустой спичечный коробок вселить сразу двух майских жуков и прижать

коробок к уху.

В разные отрезки жизни видишь то одну, то другую ее сторону. Например, в юности, целуясь, вдруг понимаешь, что жизнь — это влага. В бабушкиных очках, с прижатым к уху спичечным коробком или на просмотре фильма братьев Квей «Репетиции вымерших анатомий»<sup>1</sup> понимаешь, что жизнь — это смазанное пятно, погруженное в шорох. Для трущих лоб жизнь — это шелест, это фрикция, это вибрация. У всякого пятна и пятнышка есть свои крылья или крыльшки. Чешуйки скребутся в перепонки. Если вывернуть наизнанку мячик, то выпрыгнет пружинка. Шестерни цепляются друг за друга, чтобы, не дай бог, время не остановилось. Цикады, штыри, шупули звучат во имя жизни. Где любовь, там и фрикция. И если лба нет, то три хотя бы полу пиджака. Иначе не докажешь факта собственного существования. Если у жизни и есть анатомия, то это анатомия пружинок.

Итак, о чем же черно-белая ленточка братьев Квей, длиной в пятнадцать минут? О теннисном зайчике, солнечном шапике, пенисном лучике, спящем в районе промежности. Читая любимые стихи, порываешься вставить в них слово или строчку. Но, взглядевшись, видишь: это слово или строчка там всегда стояли. С ленточкой проще: она с глаз долой. Так что после смело можешь сказать: «Что ж вы, братья, проморгали? Надо было фильм делать про букву «ш» в слове «шарманка», букву «ч» в слове «виолончель», букву «ж» в слове «жук».

## МУКИ ЛЮБВИ

**К**ак трудно влюбиться в Татьяну Ларину или Анну Каренину! Они слишком полновесны, словно мебелью заставлены, словно густо заселены: своими чувствами, гардеробами, утварью. То ли Татьяна при, то ли при Татьяне: господский дом, блины на масленицу, вощаной кувшин с брусничною водою, на красных лапках гусь тяжелый, куртины, кровли и забор, деревья в зимнем серебре, карла с хвостиком, седая няня Филиппевна в длинной телогрейке, соседи в возках, кибитках, бричках, кастрюльки, стулья, сундуки, варенье в банках, клетки с петухами, крупная соль светской злости.

Анна Каренина, бросившая вызов Татьяне Лариной, мечется по паркету столовой, освещенной одной лампой, по ковру темной гостиной. На стенах висят тяжелые портреты родных и приятельниц. На столе стоит малахитовый бювар... Муж трещит руками, а во сне свистит носом... К ней взыскует сын Сережа, предшествуемый гувернанткой.

К таким женщинам со своей любовью не подселиться. Влюбиться хочется в гимназисток, курсисток начала XX века. Ими обжита проза Бунина, но не

---

<sup>1</sup> «Репетиции вымерших анатомий», братья Квей, 1988 г., Великобритания.

только Бунина. У Алексея Ремизова тоже свои Зины Разумовские, Нины и Кати Муравицкие. И у А. Толстого. И в «Докторе Живаго» они еще свежи, с мороза, с катка. «Это были первые ее слезы и единственные. И эти слезы раскрыли ее сердце. И с тех пор ее раскрытое сердце дышало влюбленностью; и оттого, что было неутолимо, оно колдовало — и не было гимназиста, который бы не влюбился в Валу.» (А. Ремизов, «В розовом блеске»). Порок подмешан к их обаянию. Их мучат муки любви, разделенной или не разделенной. К их совести не воззовешь. Ее у них нет. И при этом душевны, сердечны, безотказны. Между ними и тобой один барьер — возраст. Тебе почему-то упорно двенадцать, и ты никак не можешь нагнать, перелететь через пять-шесть лет, что вас различают. Готовность влюбиться в них, а не в Ларину или Каренину, говорит не о вкусах влюбляющегося, а о самой природе любви: природе чудесной, бесстыжей, летучей.

### ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ПОЭТА-ПЕСЕННИКА ЮЗА А.

**В**се мы рабы своих имен. Художник Шагал не любил художника Леже. Герой исторического романа Загоскина «Юрий Мирославский» в конце концов страхнул с себя обложку и стал писателем. Носители цитрусовых фамилий источают вьедливо-вульгарный аромат (это не выпад в адрес Лимонова, а камень в свою апельсиновую рошу).

Биография Юза А. тоже складывается по законам этимологии. Спросите у Даля, что такое юза? Это узы, оковы, кандалы. В 1950 году Юз стал кандалником, т. е. узником, т. е. юзником. Сидел в юзилище, т. е. в тюрьме (будем считать лагерь тюрьмой под открытым небом). Там он и начал юзжать, т. е. визжать, петь. У Льва Толстого в рассказе «За что?» есть такая фраза: «Собачонка вспрыгнула в тарантас и там стала юзжать и хвостом махать». Должно быть там же, в юзилище, Юз начал писать. Почему? Во-первых, юз — это буквопечатающий телеграфный аппарат (я делаю ударение на «буквопечатающий») а работает на нем юзист или юзистка. Во-вторых, в Юзе встретился Юз, да, Томас Юз, английский писатель XIX века, большой знаток английского школьного слэнга. Так в юзилище родился непростой советский заключенный юзного (т. е. союзного) значения. Последующая эмиграция нашего героя в Америку объясняется словами юзила, т. е. юла, егоза, и юзом, т. е. скользя, таща, волоча по земле.

Но можно ли наворожить будущее по этимологическим картам? По крайней мере еще один поворот в биографии Юза я берусь предугадать. Это будет крен в восточном направлении. Я не имею в виду его японские стихи, которые он упорно называет китайскими, вроде

## В СОСТОЯНИИ ГЛУБОЧАЙШЕГО ПОХМЕЛЬЯ ВЫХОЖУ ИЗ УСЫПАЛЬНИЦЫ ИМПЕРАТОРА

На куполах золотых морозный иней.  
Скрипит снежок на мостовой торцовой:  
Я. Ленина в гробу видал.

Китайско-японская путаница объяснима: наш герой, должно быть, считает, что имена из двух букв, особенно если одна из этих букв «ю», непременно китайские. Но я о другом Востоке. Есть такое тюркское слово «юз-баш'и» (или б'аши?). Так в Турции называют управляющих родами кочевников. Плачет, плачет берег турецкий по Юзу. Но он сам юзжит-плачет, под гитару или концертный рояль, по себе, юзнику. Как трогателен зябкий пейзаж юзовой души, как пронизывающая дождливая погода юзового сердца.

### ОБРАБОТКА КОЖИ

**О**бхарканная арабской речью, ты уходишь с тунисского крытого рынка и в затылок тебе смотрит смысл здешней жизни. В чем он? Не знаю. Она, харкотина, слаще пирожного, расписанного куфическими письменами. Ты поворачиваешься лицом к смыслу и сквозь проем, обрамленный криволинейным орнаментом, возвращаешься к харкунам в войлочных красных фесках, халатах золотого шитья и джинсах, к харкуньям в халатах, вышитых шелком. Их лица из вулканического туфа и сырцового кирпича трескаются от улыбок. Мороз и мурашки бегут наперегонки. Она, кожа, прилипает к кости и плоти. Ты снова в самом центре кружевоплетения. Освобожденная от ворса, щетины, шерсти, кожа упрямится, бычится, раздувает щеки. Ее привозят сюда прямо из дубилен после обработки в дубильном чане посредством вымачивания в экстрактах коры. В обработке участвуют протравы, протравщики, дубители, дубильщики, кожемяки и — в первую голову — кожедёры. В лавках кожевников висят летучие мыши-кожаны с несросшимися ушами, гладенькие баклаги с узкими, по-борцовски короткими горлами, сумки и вьюки отменной кожистости, плетеные ремни для истязания, воздуходувные мехи, обшивка щитов, кожистые листья кактусов, кожа апельсинов. Хватай, пока не затикал жучок-кожеед. От шерсти, войлока, кожи не оторвешься, не отвяжешься. Ручная работа, рукоделие, ремесло, рукотворчество. От такою можно тащиться веками. Как от маминой руки. У мусульман есть любимый оберег — растопыренная пятерня Фатимы, дочери Магомета. Кожа ее руки — это тоже покров, освобожденный от шерсти. По рынку Туниса тебя ведет рука Фатимы. И доводит до предела, откуда виден восьмигранный минарет. Но уйти невозможно. Красная баранья кожа дурманит волю, мездрит память. В

Тунисе работают руками, думают руками, разговаривают руками. Полоснуть по коже может только сирота, северянин. Полдень в Тунисе. Обхарканный арабской речью, в чужой родной шкуре, ты уходишь с базара, и в затылок тебе смотрит смысл жизни. В чем он? Не знаю.

## НЕВОСПОЛНИМЫЕ УТРАТЫ

**В** этом году английская культура понесла невосполнимые утраты: друг за дужкой, гуськом ушли в рай парикмахер Раймондо Бессоне и кулинарка Элизабет Дейвид.

Кажется, первым, кто публично признался Элизабет Дейвид в любви, был писатель Грэм Грин. Где-то в середине пятидесятых в газетной анкете «лучшая книга года» он неожиданно отдал пальму первенства «Итальянской кухне» тогда еще малоизвестного автора Элизабет Дейвид. Католик Грин, предпочитавший жить во Франции, знал толк в еде. Может, из-за еды он и уехал из Англии, где после войны пуритане окончательно все стерли, перетерли в порошок. Английскую кухню иногда называют безграмотной. Это не так. Она — английская кухня — реакционная, обскурантистская. В 1950 году в своей первой поваренной книге «Кухня Средиземноморья» Элизабет Дейвид в одиночку бросила вызов пуританскому кличу «Смерть овощам!». Она воспела маслины, чеснок, баклажаны. Я уверен: если бы она писала по-русски, то называла бы баклажаны по-южному — синенькие. Можно по-разному объяснять, почему она так восхитительно изменила Англии с югом: провела юность во Франции, молодость на Капри, в Греции, в Александрии, где подружилась с неотразимыми британскими космополитами писателями Лоренсом Дарреллом, Оливией Мэннинг. Суть не в обстоятельствах, а в самой Дейвид. Она всегда была, даже на последнем, семьдесят девятом году жизни — красивой, обольстительной, элегантной. Такие женщины просто не способны есть безобразную еду. Станным образом, ее кулинарный — с сильным креном к Средиземноморью — космополитизм включал в себя и то лучшее, что оставалось в британской кухне: шотландскую семгу, английские яблоки, замечательно грубоватый сыр-чеддер. Почти полвека она отчаянно взывала к трусливому небу соотечественников: не чурайтесь перца, специй, приправ, травки. Что может быть вкусней лангусты в соусе из чеснока, помидоров и бренди? Я уверен, что выражение «жажда жизни» означает «жажду» в прямом смысле — к ключевой студеной воде, к виноградному мясистому вину. А что такое «вкус к жизни»? Конечно, это тяга неба, языка к сладкому, кислому, терпкому. Еще я уверен, что Элизабет Дейвид отдавала себе отчет, что ее место — рядом с великими историками, философами, поэтами. Неважно, как ты приходишь к пониманию жизни: через метафизику, метафору или чесночную головку. Послушайте ее суждения о вечности: «Древним римлянам приходилось печься о сохранности пищи, потому они невероятно пере-

саливали ее. Чтобы свести на нет пересол и возможный душок римляне добавляли в еду мед, сладкое вино, сушеные фрукты... мускус, смолу, кориандр, руту... Когда варвары смели с лица земли цивилизацию, исчезло и кулинарное искусство. Оно сохранилось разве что в монастырских манускриптах. Только Ренессанс в Венеции, Милане, Флоренции, Риме, Генуе, Неаполе возродил интерес к гастрономии античного мира.»

Я думаю, что переводчик дюжины поваренных книг Элизабет Дейвид на русский встанет в один ряд с переводчиками Плутарха, Марселя Пруста, Агаты Кристи. Признаюсь, у меня дома на кухонном подоконнике, рядом с книгой «Турецкая кухня», стоит томик Элизабет Дейвид «Итальянская кухня». На обложке — шесть толстокожих, ассиметричных лимонов. Эту книгу я подарил жене лет двенадцать назад, когда мы переехали из Германии в Англию. Есть и дарственная надпись: «Дорогая, у любви нет обходных путей Эта книга — тебе!» Не знаю, простят ли мне эту надпись феминистки. Ладно. Пусть не прощают.

“У нас многие думают, что «художники» — это только живописцы и скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею... а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик... но это был не простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом... а был это человек с идеями, — словом, художник“. Цитата из лесковского рассказа «Тупейный художник». В отличие от трагического лесковского парикмахера Аркадия английский парикмахер Раймондо Пьетро Карло Бессоне по прозвищу Локон-Кокон жил долго и счастливо. Умер он на девятом десятке. Десять лет назад королева Елизавета II наградила его Орденом Британской Империи, и вот теперь центральные газеты Королевства откликнулись на смерть Локона-Кокона пространными некрологами. Сколько еще воды утечет, пока «Независимые московские известия» начнут писать о великих парикмахерах как о депутатах парламента или народных артистах! Локон-Кокон был одним из тех, кому двадцатый век обязан своим обликом. Это он сооружал «вшивые домики», из которых торчали «конские хвосты» ждущих своего часа «бабетт». Но лейтмотивом его творчества были «волна». Если шестидесятые пели голосом Битлз, то потряхивали они прическами, или как когда-то говорили куафюрами, вываянными Локоном-Коконем. Надо по-настоящему не уважать внешность, поверхность, чтобы так упорно держать в загоне прилагательные «внешний», «поверхностный». И в чем она провинилась, эта внешность? Тем, что красноречива? В Древней Греции и Древнем Риме к внешности, к внешнему относились почтительно. Древнегреческие философы, чтобы засвидетельствовать свою принадлежность к той или иной философской школе, отращивали бороды разных конфигураций. У парикмахерского искусства был богатейший словарь: шнуровка или подвязывание пучка, заплетение и скручивание в узел, завязывание волосяной петли... А вот названия причесок: двойная заплетенная косичка, подвязанный хохолок, кудрявый тупей, тупей на лбу с косичкой, прическа в форме дыни. Прически древних римлянок отчеканивались на

монетах. Была и целая культура украшения волос: диадемами, венками, кольцами, спиральями.

Законодатель английских причесок Локон-Кокон к своему ремеслу относился как к искусству. Некролог в газете «Индепендент» написал его ученик, выдающийся тупейный художник современности Видал Сэссун. И как написал! Вообще жанр некрологов в английской прессе — тема особая. Здесь «группы товарищей» не пишут. Здесь пишут настоящие друзья и мастера некрологического жанра. «Он видел жизнь разноцветной, — пишет Видал Сэссун, — и разрисовывал ее ножницами... Для тех, кому посчастливилось видеть его в работе, это был чистый театр. Он отважно бросил вызов рассудочности моды. Он вдохновлял тех, кто следовал его путем.» Львиная доля газетной полосы — об умершем парикмахере, тупейном художнике, Локоне-Коконе. На таких мастеров спрос велик не только на земле, но и на небе. Ангелам, судя по всему, брадобрей не нужен, но есть же у них кудри и крылья!



*Да и мне по вкусу твоей слюны пучина, мочка уха, податливые вихры,  
Твоя ладонь как джонка, пятерых кавалеров везущая на пиры  
По Хуанхэ и Янцзы плывет в низину живота к кущам клейкого урожая  
Где звезда со звездой чокаясь говорит: я тебя за блеск уважаю.*

*И вот ты тянешь меня за уздечку, да и сам я уже вострю  
Нежные охотничьи лыжи, чтобы без шума подобраться к твоему снегирю,  
Чтобы выдернуть из его зоба золотой шнурок с бусинкой победы  
Над сонным Орфеем прикосновений и еще не одеревеневшим Ганимедом.*

*Разве сердце замирает как августовская полночь над озверевшей бахчой,  
Когда сияющим обручем чуть бочком летит этот оборот речевой,  
И другой, изнемогая валится в пыль на трамвайном повороте  
От твоего плеча к ключице ничего не разумеющей плоти.*

*«Так-то, — говорю, — так-то. Ну-ну, ангел мой, — прибавляю, — вот-вот.»  
Этот мазурик, выбирающийся из клюквенных пасторальных болот,  
Этот барчук, отщепенец, хвост перепелиный,  
отщепенец засевавший в тебе, найденный,  
Смертолюбивый крепыш, счастливый случай, который ты проворонишь.*

\* \* \*

*За французский боярышник, подвергнутый Прустом  
изнурительной флагелляции,  
За итальянок, сквозь которые охи и ахи безумно растут как акации,  
За кинематограф всхлипываний, за воздушную кукурузу невыполнимых просьб,  
За то, что все это было с кем-то, а нас коснулось лишь вскользь.*

*Лишь иностранцам — любимцам и неженкам все позволяют, все можно им:  
Месопотамию ласк посетить невзначай, что в паху коченеет мороженым,  
Таёт и липко течет сквозь штакетники губ, но нас туда не зовут,  
Где, меж бедер, под пенье газонокосилок я б вылизывал твой голливуд.*

*Вот и в груди пинг-понг спотыкаясь и бакеном теплясь и ёкая,  
Сердце себя бередит, как манок себя манит и мучит как песня далекая,  
И облучок обломив, ящичком засыпает тяжёлая кровь от тебя за версту —  
Только солдатик в пушистой станции один одишешенек  
бдит во весь рост на посту.*

*Ты же бубнишь как луна, проливая кисель мимо лунки, выбалтывая  
Все что текло мимо рта, все что смыла случайно губа твоя,  
Но то что уносит твой голос, пригубленный мной сквозь влажные щелки глухих  
Молодцеватых согласных на сумрачных поймах не хватит, увы, на двоих.*

*Там, где сапожная вакса ночная, небесная, смертная, тусклая, темная,  
Там, где предгрозы ползет по холмам как виолончель неподъемная,  
Там, где вся лимфа и кровь, все мышцы и жилы, течений густые слои  
Перемешавшись, на хвойном наречьи ведут кривотолки свои.*

\* \* \*

*«108 способов любви», петитом набранных, ну за трояк не купишь ли?  
Как эти тучи к вечеру лучиться в сумрачном дыму и розоветь устали...  
Рукопожатие магнитов там: в узлы они сплелись, сложились кукишем.  
Откашляться здесь стоило б, упомянуть еще подробности интимные, детали.*

*Вся-вся любовь бледнела чтоб луной, но розовым, но розовым отсвечивала,  
Все-все 108 способов багрово-стыдные так стиснуты в гвоздике.  
Казалось мне: я в этой жизни прорастал шутя от делать нечего,  
Но этот свет уже не перенести похолодавший так — все ответы его и блики.*

*Как будто мальчиком я заглянул туда и пульс сорвавшийся  
похолодев попробовал*

*И над смертельным опытом своим себя не узнавая замер.  
Толчками разве кровь не билась прежде так, не пробивалась тромбами  
Гуди безрадостный тромбон, сосудорасширяющий не вынеся экзамен.*

*Бубни, фাগот: с ухмылкой тяни такую ниточку к себе, напой: на берег как  
Нам выбраться теперь; но-но, пожалуйста, не так скабречно..  
Такую книжечку с картинками, молчу-молчу, я видел дома у Валерика  
И морок темных туч не остужает жар небесный.*

*Я тоже бы историю такую рассказал, 108 поз на пальцах бы,  
серьезно, неулыбчиво,*

*Как этот юноша, что продает пособие, еще б напел, наговорил такого б  
Но рано, кажется, и стоит ли тут обо всем зудеть, трепаться  
на виду у всех эя вычетом*

*Одной величины необъяснимой, мелкой, теплой, бестолковой.*

\* \* \*

*У кооперативного киоска, где на календарики с бабами глядя онанировал  
Школьник, шкодничал в кармане строгом форменных штанов,  
Я задумался над первым сексуальным опытом товарища Кирова —  
Сны бедняцкие, поллюции, писк сперматозоидов: «будь к борьбе готов!»*

*Всадник сонной бородавки на ладони в цейсовский издалека примеченный  
Подозрительный бинокль, и еще другие в стайку недвуслысенно сползлись<sup>1</sup>.  
Нет! Прилюдно так не безобразничал Сережа, весь прыщами искалеченный,  
Прятался в подполье он и салютом майским била слизь.*

*Буква к букве потянулась семенным кантиком и будто мертвому  
Смыслу цепляться не за что боле, но товарищи, товарищи, вся власть...  
Прокламацию пугливую еще раз хочется оттрахать разомлевшему гектографу,  
Прокатать ее горячую в чумазой потной краске власть.*

*Две гитары за стеной заныли, две подруги, но «ни-ни» шепни представительной  
Озверевшей железе — она как пуля налилась свинцом. И вечером затем  
Чай и сахар колотый и с тезисами топчутся приятели —  
Марсельезка плоскогрудая не легшая ни с кем.*

*О, стыдливей бы, пожалуй, без намеков всяких, без неметчины...  
Семя строгое взрослоло в кобуре мошонок. Ну, чуть чуть  
Пошутит и будет. Эта линия такой скабресной ниточкой намечена —  
Расходились, гоготали, по плечу друг друга хлопали, толкали в грудь...*

\* \* \*

*Оттого, что прощается все — и сердце ледовитое, и слова косные  
О том, что мне снится, папочка, твое тело неоперенное,  
поверженное, безволосое,  
И серую тундру живота, не вспугнув оленьей упряжки срама,  
Надрезает провизор, как северный ангел сгустки бурана.*

*И вот мне видеть больно, как проступает, словно дыба уральская,  
Из твоих недр каждая железка, каждая жилка, связка мало-мальская.  
И я виню себя, что ненавидал песцов Таймыра и лаек Уэлена,  
Когда ты пленая меня леденил, отпуская в снега постепенно*

---

<sup>1</sup> Бородавки на ладони — детский «фольклорный» признак онанизма.

*И вот я держу ответ за кутенка винца. за птичью затяжку первую;  
«Нет, — говорю, — не верю, но может быть, дай Бог, еще уверю  
В то, что сладко претерпевать этот переход под рев труб миную.  
Под гул пламени, шелест дыма, плеск поцелуя.»*

*Так как нет уже ничего — ни кровинки верткой, ни сухожилия быстрого,  
Ни жалоб, ни жутких оценок, ни провалов по всем регистрам  
Умопомрачительной близорукости и глухоты с ее золотым тромбоном,  
С тромбом этих мук. оказавшихся на поверку звоном».*

*И вот ты гудишь по-царски на родительском раз в полстолетье собрания,  
Что всех нас скоро охватят, скуют, уничтожат эти заморозки ранние,  
Что ливнем зальет вологодским, волной из днепровского шлюза,  
Что вот уже синица вьется — это, мол, мороза муза.*

\* \* \*

*Две подруги милые на одном стуле примостившиеся —  
две бациллы, две холеры,*

*Я теперь насквозь вас вижу в свой партийно-беспристрастный микроскоп,  
В ваших жилах красногалстучных эритроциты разбежались, пионеры,  
Запевалы, заводилы, так сказать, дурная челочка наискосок.*

*Маша Любу целовала. рот круглила, хоботком вытягивала губы, горном  
Розовато-сумеречным звала: картофелина скуксилась в золе — ту-ру-ру-ру-ру...  
Клятвы липкие шептала баритоном: йу, костер, дрожжи огнеупорным  
Перышком, без тебя, мол, жить не стану — лягу на пол и помру.*

*Что я высмотрел такое. выглядел. кося глазком, подслушал и подметил?  
Цифра к цифре приставляют костяные белые бесстрастные глазки:  
Это сердце — доминошник расстучавшийся. Ах, бросьте эти сети,  
Чтоб уловок жалких всплыли полавки.*

*Нет, не льнущие магниты, и не слабогрудые бактерии — вас невооруженным  
Глазом видно, вовсе безоружным... Ни с того ни с сего восходят пузырьки  
В сонной лужице парзана, водолазом пляшущих завороженным,  
Побежали-побежали черненьких зрачков зверьки.*



\* \* \*

*Это предгрозы не опаснее коробка спичек, лепечущего у мошонки,  
Эти тучи в темных противогазах не наглее торопящихся  
к поверке новобранцев.*

*И это в сумме не больше, чем моя жизнь, исчезающая в воронке  
Твоих губ и моего трепета, с которым нам лучше не сверяться.*

*Лучше б мне никогда ни разу ни то чтобы как, а вообще ни сном ни духом,  
Лучше б этот бунт эритроцитов переждать в дубраве люминала,  
Где ни один кровососущий звук не повторяет формы твоего уха,  
Где ни одна родственная особь меня по форме кроны и  
кромке листа не признала.*

*Вот и краснотел в день Марса озверевший, вот и молодой вереск  
Не рискующий Луне перечить в ночь сердечного неумолимого прилива,  
И люцерна, целомудренно к земле прикишая, как и сестра ее по вере —  
Каинка дикая — не подают руки, не шелестят, меня обходят торопливо.*

*Уренгой в паху моем зажегший к нчи тяжкий липкий факел —  
Нефть и газ выходят на поля, как с ангелом попутчик.  
Что в котомке? Взгляды и прикосновенья. И еще в твоём овраге  
Доплеветает нежный костерок, что полной темноты, пожалуй, лучше...*

*Ты, комар, мой незлобивый собеседник, лучше, что ли, сразу рюмку выпей,  
Отвали, зануда, скисни, разговоры эти; группа крови, резус фактор...,  
Непереносимы.*

*Птенчик, спи в листве, забудься в этой кипе...*

*Ну не буду больше, не сердись, все хорошо, утешься, так-то...*

\* \* \*

И сердце на клочки не разорвалось...

Ф. Гютчев

Там человек сгорел

А. Фет

*Это невыносимое пенье сирен, льющееся из клиники туберкулеза,  
Так, что начинает в груди чудиться Ницца ледка и мниться Сицилия мороза,  
И все это растапливается твоими губами, мой налим, моя олениха,  
В санатории объятий, на ягеле простыней, сминающихся тихо.*

*Так, при попутном ветре ты добираться туда, для чего потребен язык,  
но не нужно слово,  
И эта скользкая одиссея, клейкий диснейленд, уикэнд тихого рыбакова,  
Чей розовый якорек когтит мой Ямал, его ледовитое устье,  
Криминальной песенкой Шуберта о молочной форели и этих трелей боюсь я.*

*Хочешь кудрявым верхом пойдём за флейтами, а нет,  
так за тромбонами — низом,  
Где каждое прикосновенье вспухнет салютом, брызнет спортивным призом;  
Помнишь ли, как нас волновали вымпелы бабочек,  
облаков переходящие кубки,  
Что несут девушки, надув на закат подведенные губки.*

*И вот мой поршеньек поспешает в тебе, и я это наблюдаю в разрезе,  
В римском двигателе внутреннего сгорания, в толчее виллы Боргезе,  
Где среди белковых туристов, прости Господи, Афанасий Фет и  
Федор Тютчев,  
Превратившись в липкое пламя, собираются хлынуть из тучи.*

*Но одному мерзит все: от лживого зноя до музейной зевоты,  
А другому — газ веселящий все, сердца легкие обороты,  
И самовоспламеняющиеся женщины, как и чахнувшие от чахотки,  
Изливают из меня семя, кепочки стыда отбросив, стянув смущенья пилотки.*

\* \* \*

*Чтоб оттрахать эту попку подлую вихляющуюся, чтобы хоть  
разок перепихнуться,  
Когда папочка с мамочкой на дачу отвалили чалить, чтобы, извините, до упора  
Аквилон ей вдуть свой, простудиться ведь пришлось Алеше П.,  
губа его припухла  
В лихорадке вся двусмысленной, насморк там и кашель, ну, умора...*

*Штастал за своей блядиной налегке, на сквозняках свистел, дубина —  
Ты в горчичниках хохляцким охаеть ландшафтом в бахчах, огородах —  
Так любви в тебе коротенькая смолкла расчихавшись сонатина.  
О, трех букв единство непристойное — тема ее скисшая, осунувшаяся кода?*

*Отчего тебе все чудится беличий или щенячий пах ее, такая тучка, облачко,  
Влип ты, значит, в это дело, или же из носоглотки воспаленье  
В скорбный домик черепа проникло, прилепившись в утлой оболочке  
За тусовки все ответственной, за рыдания пьяные, тоску, за дни рожденья.*

*Сна баржа ленивая, горячая, таблетками увешанная — аспирин, димедрола.  
Или же к тебе прижалась перебеленная вся в помарках от руки  
Жизнь жестокая как менделеевская строгая железистая школа.  
На дверях сортира, помнишь, графика любовная и лирика —  
спаривающиеся бабочки, жуки?*

*Хоть тебя зашкалило и скот ты, но волнение смутное и почти вся сумма  
Признаков влюбленности. Помнит, помнит телефон твой голос лапидарный  
Так теперь до лепета глубокого спустившийся, до шума...  
Свисту, щелбету какой-то призыв дополнительный теперь ты, парный.*

\* \* \*

*Оттого, что поцелуй твои с липкой пилкой микробов в уголках губ  
Непереносимы, оттого что ты — чума, холера, помрачившая мой ум зараза,  
Я все воробьиные обиды нанесенные тобой утраиваю, возвожу в птичий куб,  
И зажигаю в груди лабораторную горелку с петелькой газа.*

*И вот я равнодушен ко всему, что горит этим перышком «чирик»  
К закипающим молочным смесям объятий, трепета, сердечной боли,  
Так как уже к другому пламени я придвинулся почти вплоты.  
И во мне хрустят стекла, хлопают форточки как после экзаменов в школе.*

*И во мне зудят боевые электромоторы, нервно рассыпая порошок  
Искр, и сворачивается в дудочку карта едва пискнувшего государства,  
В которую дует ветер словно слабоумный пастушок  
Умиротворяющий песенку, льет остужающее губы лекарство.*

*О, бузина, вяз, смоковница, груша, яблоня, черемуха и не помню какой куст,  
Все сбрасываемые частности, вырывающиеся с корнем числа,  
растворяющиеся приметы,  
При элементарном сложении даже не уравнивают груз  
Жизни, словно догорающей до фильтра сигареты.*

*Вот и некто этажом ниже одиннадцать дней пил и наконец  
Увидел морозное кино — облавы, шмон, махач, дикая погоня,  
И вот к нему через балконные двери то ли удоб влетает, то ли входит отец.  
И молвит — «Ты не Миша теперь, а Майкл, Мордухай, Моисей, Мона.*

*Я тебя направляю снова в артель инвалидов, на ныры, в ФЗУ, роддом,  
Родина твоя преем меж Тюрингией, Поволжьем и Галилеей.  
Хочешь — в розовом кипении, хочешь — в пламени голубом  
Исчезай индеец.»*

\* \* \*

*О, копание в самом себе до донышка — никто в душеньку молочную  
глубже не залезет*

*Так как мелкая она еще — я давно лгуна простил, моего товарища.  
На спор женскую ложбинку рисовал как картофелину мелкую в разрезе;  
В ракурсе томительном глазок уретры перепутал и гнильцу влагляща.*

*Как в уме пружинка жадно распрямилась, сердце рыбкою на нерест  
Серебрясь спешило лишь до рубежа ему посылного.  
Разговоры, болтовня, нашептыванья юношей до трех утра — лишь шелест  
Тополиной молодежи. Господи, что ж я обсуждал тогда с Васильевым?*

*Говорил он: ум такая фабрика химическая, на худой конец — ферма;  
Вот и мысли перепутались его как куница и хорек во время спариванья;  
Врал нещадно; в гроте женственном как будто Полифема  
Сослепу нащупал в духоте пушистой. О, — шептал, — какое марево.*

*Пой, Васильев, лги, уже и жизнь кончается, так как на руках никто не носит,  
Не баючит, не поет спросонья; все слова так и остались эмбрионами.  
Разве птички плещут мелочью пернатой в стылом купоросе?  
Кем мы были? — так, сынками мамочкиными, голубками полусонными...*

*Разве чувством не делился я — не базарил, не талдычил, втюрясь безнадежно  
В неотзывчивую все-таки осину комсомольской пилочкой подпиленную.  
Кровь оравой потной шаялась все по кругу, кодлой молодежи —  
Вот, душа, струну твою припомнил стыдную, прости, полудебильную.*

*А еще одежда пыльная, лопаты там и грабли жутко свалены в каптерке.  
Мышка, мышка отдавалась всем по очереди без истерики —  
Не за бритовку сырка и не за сахар чистенький; опыт кислотовато-горький  
Умножала лишь. Где теперь ты норку холишь? В Азии, в Америке...*

*Сонная душа моя небритая, ты вся заволосатела:*

*вожделенья, упования, но не понапрасну*

*Задыхался, глядячи в глазок дверной, источник затуманив слабенький  
Прошлого такого смутного, где вовсе сникну я, погасну,  
Одеялом ласковым укрой меня — шепну так тихо, — маменька.*

---

## По поводу одной переписки

---

(вступление, перевод с английского,  
комментарии и эссе Д. К. Хотова)

**В**от два письма; попробуем прочесть их внимательно. Сначала об обстоятельствах: нижеприведенная переписка (с общим заголовком «Издательский эпилог») завершает изумительную борхесовскую персональную антологию, вышедшую где-то в начале 70-х г.г. в Англии. Энтони Кэрриган фигурирует в ней как составитель, редактор и переводчик прозы, Аластер Рид — как переводчик почти половины всех стихов (антология содержит и прозу, и стихи). Сразу отметим некоторую двусмысленность: если антология персональная, то почему составителем назван Кэрриган?

Д. К. Хотов

### Письмо первое.

Барселона, лето 1963

Дорогой Тони,

как мы договорились, последние несколько дней я работал над переводом книги Борхеса, отчего и пришел в странное состояние. Кто написал эту книгу? Вспоминаю разговор, кажется с Вами (но сейчас я уже ни в чем не уверен): мы решили объединить наши усилия и перевести ее, освободившись на некоторое время от обязательств, которые налагают прочие книги (как напоминает Борхес: «Nadie puede escribir un libro»). Однако внезапно меня посетило чувство, *что* это может быть за книга (опять сомнения!), я говорю о стихах; так вот: то, что я пишу в английских стихах, вовсе не то, что скрыто в испанских.<sup>1</sup> У Вас, мне кажется, те же мысли относительно прозы. И потом, я так и не могу понять, кто этот Хорхе Луис Борхес? Мы работаем над его небольшой книгой уже несколько лет, но разве хоть один из нас видел его? Другие говорят, что видели, но они могут быть в сговоре. Мы даем ему жизнь, если Борхес вообще существует, т. к. он все время твердит, что выдумал себя, или выдуман кем-то.

А затем, из этого сомнительного центра бегут волны и я уже недоумеваю: а кто — Вы?<sup>2</sup> Мы познакомились в результате этих странных, бессвязных обстоятельств, но нынче мне пришло в голову, что Вы можете быть в союзе с

Борхесом. Вы можете быть Борхесом, кем бы он ни являлся. И, наконец, я попадаю в настоящий, в странный центр — кто же, в таком случае, я?<sup>3</sup> Борхес настолько запутал себя<sup>4</sup> в своем существовании-несуществовании, что, кажется, я переводил несуществующего себя. Я переведен. Суть заключается в том, что ни один из этих переводов не может быть сколько-нибудь убедительным<sup>5</sup>, не из-за языка, но из-за иллюзорного характера реальности, которую испанский отражает волнообразно, как старое потемневшее зеркало и которую английский преображает так, будто нет ничего, кроме отражения.

Борхес так и остался для нас загадкой. И если (исходя из этого) есть несколько Борхесов, существование которых также под сомнением, то что можно сказать о его переводчиках? Что Борхес переводит нас, как и мы переводим Борхеса<sup>6</sup>, и что мы добавляем слишком много себя к размытым контурам этого человека, который так долго играет своим существованием. Простите, но я останавливаюсь на этом, ибо дальнейшие рассуждения могут стать опасными<sup>7</sup>. У меня есть мысль перевести стихи Борхеса с английского на испанский и посмотреть, смогу ли я отыграть хотя бы часть потерянной территории? Посылаю Вам это письмо без всякой уверенности, что оно когда-либо попадет к Вам, где бы Вы ни были.

Аластер.

### Письмо второе.

Пальма де Майорка  
день Св. Вивьен, 1963

Дорогой Аластер,

убежден, что знаю, кто Вы<sup>1</sup>: последний раз я видел Вас, сидящим слева от себя в маленьком патио в «La Juncosa» за площадью Св. Хоакина в Барселоне. Мы ели «говеллоны», прославленные среди прочих каталонских грибов; за пределами ресторана шел местный праздник. Вы отдали должное обоим фактам: заказав грибы и игнорируя карнавал. Да, да, Вы существовали там вечером и «говеллоны», в самом деле, были исключительными. Ничто не изменилось в этом обычном, но бессмертном блюде; тот столик всегда может быть заказан. (К тому же, Вы рассказывали о своей последней поездке на Кубу, куда Вас так и не пустили. Они пригласили Вас как борца за права человека, но к тому времени трех таких же борцов, как и Вы, уже застрелили в Камагуэе<sup>2</sup>. Вы делали вид, что не знаете испанского и молча разглядывали обтянутые военной формой зады девушек, пока говорили они<sup>3</sup>. Я знаю, кто Вы, еще и потому, что впервые увидел Вас, когда Вы шли по направлению к майоркскому горизонту в Дея; Вы шли со своим другом, у которого не было правой руки<sup>4</sup>.

К сожалению, не могу, в доказательство собственного существования, предъявить свое досье из ФБР; там меня считают олеристо-трошкистом, членом Социалистической Партии в Лос-Анжелесе (постоянным), в то время как я с юных лет — собиратель легенд и реакционный анархист<sup>5</sup>. Замечу лишь, что позже, в Дублине, слушая в пабе ирландского скрипача, я узнал ту самую мелодию, которую мой отец, тоже ирландский скрипач, играл на Кубе, на той самой Кубе, куда Вас не пустили; мелодию, которую отец, кажется, считал своим сочинением<sup>6</sup>.

Что же до Борхеса, то я должен передать Вам атмосферу волнения, вызванного в ноябре 1957 г. слухами о его смерти<sup>7</sup>. Как только эта смутная весть, словно вздувшаяся волна, начала пульсировать в литературных кругах Парижа, Галлимар официально объявил о своем намерении издать его труды (причем издатели почти ничего не слышали о существовании Борхеса, вплоть до его гипотетической смерти). В память о нем была издана небольшая брошюра в Пальма де Майорка («En homenaje a Jorge Luis Borges, muerto en noviembre de 1957»<sup>8</sup>). Впоследствии, когда новость о смерти Борхеса приказала долго жить<sup>9</sup>, хроникеры заговорили о слепоте Борхеса в связи с его директорством над собранием книг (невидимых) в Национальной Библиотеке Буэнос-Айреса, и в связи с его звуковыми фильмами (которые нельзя увидеть), сделанными во время поездки в Нью-Мехико. Я сам (надеюсь, что Вы оценили очаровательную тонкость<sup>10</sup> — прошлое и будущее; и ностальгия, и предвидение — и «говеллоны», и отсутствия руки: реальное предположение Вашего существования; реальнее моего<sup>11</sup>) написал о нашей встрече в Мадриде, хотя на самом деле, как говорят в Дублине, тяжелые обстоятельства и определенная неопределенность не позволили мне в это время быть в Мадриде. Но ежедневная газета «АВС»<sup>12</sup>, глупейший и честнейший орган столичных монархистов, дала подробное описание его четырехдневного пребывания там.

Итак, если мое издание «АВС» не является уникальной копией, включающей статью, которых нет в других тысячах «АВС» тех дней, Борхес был в Мадриде в 1963 г. И я мог встретиться с ним, написать о нашей встрече статью, опубликованную в Париже на французском, переведенную согласно неизменным законам этого бессмертного языка и поэтому принявшую иную форму<sup>13</sup>.

И затем, я спрашиваю Вас, как можно было переживать известие о смерти Борхеса, напечатанное в парижских литературных журналах, если его (Борхеса) никогда не было на свете? И как монархическое издание в Мадриде могло опрометчиво рассказать о его приезде? Есть обстоятельства и обстоятельства: их слишком много, чтобы обычный хроникер проник в них; но я держусь твердого убеждения, что Борхес не умер в 1957 г. и верю в возможность, которую имел некто, встретиться с ним в Мадриде в 1963 г., как я и написал.

Я, конечно, могу представить свидетельства и других переводчиков этого коллективного «Борхеса»<sup>14</sup>. Они заявили о себе в разных местах и вне зависимости от того, что Борхес написал все эти рассказы и стихи, которые, даже ес-

ли он мог создать в подражание переводчикам, он не мог написать этого раньше их самих: то есть писать все их собственные слова только для имитации их стиля до того, как они сами смогли бы сделать это; и если Борхес не написал их книги и все их переводы, то они, наши переводчики, идентифицируют себя и как творцы, и как перелагатели<sup>15</sup>. (Думать, что Борхес заинтересован в переводе оригинальных работ наших друзей-переводчиков на другие языки, кажется мне чрезмерным. Нет, наши друзья свидетельствуют и за себя и за нас). Я знаю людей, которые *между собой* знают *всех и каждого*, но не таким образом, как я. В конце концов, идентификация строится на пустяках, а не на нетленных уликах: пьяные крики, обрамлявшие голос переводчика в тот вечер; дождь, падавший на двойной шов его плаща; его акцент, когда он говорит на чужом языке; отведенный взгляд<sup>16</sup>.

Я чувствую, что Борхес отнюдь не отказался бы принять нас, внешне или внутренне, как помощников в свое существование, помощников его бытия. Любой из нас, или все мы, в той или иной степени, способны любить «песочные часы, географические карты, шрифт восемнадцатого века, этимологии, вкус кофе и прозу Роберта Луиса Стивенсона», как и сам Борхес, который не «Борхес», но он сам; не Борхес-Борхес, но Я-Борхес; хотя как северяне по рождению (но не такие настоящие англосаксы как Борхес<sup>17</sup>) и любители-испанисты по призванию, мы, большинство из нас<sup>18</sup>, предпочли бы читать именно сейчас (в настоящий исторический момент) прозу Валле-Инклана, однорукого карлиста, или Пью Бароху, мадридского баска, а не Стивенсона.

Подводя итог: если существую я (о чем есть лишь свидетельство отцовской мелодии, все еще витающей в воздухе Дублина; мелодии, которую я слышу сквозь шум в ушах), то и Вы существуете (о чем говорят не только «govellons»). И если существуем мы, то и Борхес существует (тому есть иные доказательства, чем его несмерть в 1957 году, или то, что его пребывание в Мадриде подтверждает монархистский «ABC» и мой отчет о нашей не встрече, написанный для французского журнала «L'Herme»). Итак, Борхес здесь, в этой книге, помогает в нашем существовании, также как мы — в его. Он — наша рекомендация; мы — его. Нужно ли нам другое доказательство сегодня, вечером, в канун праздника «Nuestra Senora de la O», Нашей сеньоры О?

Тони

### Комментарий к письму первому.

1. Непонятное сомнение для профессионального переводчика; даже любознательные дилетанты знают, что перевод есть неверный отблеск оригинала, Петергоф по отношению к Версалью, Малая Голландия вместо Голландии настоящей.

2. Похвальная логика сомнения: сначала вы сомневаетесь в третьем лице

единственного числа, затем во втором лице и, наконец, ...

3. ... и, наконец,... В первом лице того же единственного числа (о множественном здесь не может быть и речи). Сомнение в первом лице отраженной волною ставит под сомнение предыдущие высказывания, что, в свою очередь, ставит под сомнение в первом лице и т. д., и т. п., до бесконечности. Так возникает излюбленная Борхесом метафора — замкнутый круг, зеркала, поставленные друг против друга («зеркала и совокупления отвратительны»), змея, кусающая себя за хвост.

4. Нет, это автор письма старательно запутывает нас

5. Рид сначала переводит свои сомнения из экзистенциальной сферы в эстетическую, а затем — вновь в экзистенциальную, несколько назойливо демонстрируя зыбкость разделяющей их грани, которая, впрочем, и так очевидна.

6. Вы, конечно, помните ту самую китайскую бабочку.

7. Они не могут стать опасными, т. к. *дальнейших* рассуждений просто не может быть. Усомнившись в своем существовании, Рид усомнился в том, что *именно он* усомнился в существовании Борхеса в начале письма. Но если Борхес несомненен, то несомненен и адресат письма — Кэрриган, а если так, то несомненен и сам Рид. В таком случае, *именно он* усомнился в существовании Борхеса. Это не слишком сложный трюк, как уже отмечалось, почерпнут у самого Борхеса, который, в свою очередь, позаимствовал его у достаточно богатой предшествующей традиции (в конце концов, этот трюк — просто одна из разновидностей борхесовского кредо: «Счастливы не настаивающие на правоте своей, ибо никто не прав либо все правы»).

### Комментарий к письму второму.

1. Кэрриган начинает там, где остановился его адресат: с самого Рида. Выше мы уже предсказали двусмысленность любых доказательств в этой системе, но Кэрриган решил пройти весь этот путь сам. Пикантность ситуации в том, что доказывая первое лицо ед. числа Рида, он (по отношению к собственному первому лицу) доказывает второе лицо, т. е. берется за середину цепи. Варианты множатся, персонажи же остаются голографией, темными силуэтами в комнате, закрытой портьерой; полковник Морган целится в них из своего изумительного духового ружья, а хитроумный идальго Холмс с помощью верного санчо Ватсона готовится надеть на полковника наручники.

2. Кстати, Борхес хорошо знал цену таким «любителям» борцов за права человека, как Кастро. Напомним читателю, что время отправления письма — 1963, т. е. вскоре после событий на Плайя-Хирон, так что тех трех борцов за права человека, видимо, ухлопали именно там. Наверное, они принимали участие в высадке десанта. Не был ли Рид аналогичным образом приглашен на Кубу? И, забегая вперед, не в плену ли он лицезрел формы кубинских

амазонок?

Возвращаясь к Борхесу заметим, что он также пострадал от аргентинского варианта Кастро — президента Перона. Или Кастро — кубинский вариант Перона?

3. Неожиданная хэмингуэвская интонация забрела сюда, впрочем, ее ждали и подготовили декорации: барселонская фиеста, маленький испанский ресторан, «бессмертные грибы» (очень по-хэмингуэвски давать такие эпитеты какой-нибудь водке или котлетам), — Куба; чуть позже — однорукий друг. Обтянутые формой задницы милиционерок попали в подходящий контекст и выглядят здесь вовсе не лишними.

4. Не помню, какой руки не было у Сервантеса.

5. Эти наивные западные люди считают, что таким образом они высмеивают идеологические жаргоны, неважно, ФБР или коммунистов. Ведь они никогда не слышали о, например, «Коммунистической Партии Литвы на платформе Коммунистической Партии Советского Союза». Какие уж тут далекие «реакционные анархисты»...

6. Доказав с помощью грибов, Кастро и некоего однорукого субъекта, существование Рида, Кэрриган принялся за себя. Если рассмотреть его претензии на четкость мысли без пристрастия и избыточного контекстуального флера, то из существования ровеллонов, барбудос и инвалидов отнюдь не следует существование одного из испано-английских переводчиков. Эти условия и не необходимые и не достаточные.

Еще большие сомнения вызывает сам Кэрриган, появление которого обставлено тремя свидетельствами с отрицательной частичкой. У него «нет досье», он «не социалист» и, видимо, уже «нет в живых отца». В результате у нас остаётся, только грустная (мне кажется, именно грустная) скрипичная мелодия.

7. В беседе с одним колумбийским журналистом уже где-то в середине 70-х Борхес высказался в том смысле, что узнать и пережить собственную смерть — это настоящий дар судьбы, намек на личное бессмертие (впрочем, последнее домыслил сам автор комментария).

8. Этот факт кажется весьма подозрительным, учитывая, что сам Кэрриган живет в Пальма де Майорка. Не он ли автор брошюры?

9. Комментатор просит прощения за дурацкий каламбур-переводчика.

10. Кэрриган — безнадежный нарциссист. Он доказывает бытие Борхеса через себя («Я сам»), упивается своими наивными хитростями («очаровательная тонкость»). В отличие от Рида, в себе он — уверен.

11. Если ровеллоны доказывают существование Рида, то отсутствие руки, по этой логике, доказывает существование Кэрригана. Не значит ли это, что тот однорукий друг, рядом с Ридом, на фоне майоркского горизонта и есть Кэрриган? Кто же этот третий, кто видел их вместе — не сам ли Борхес?

12. Хитрое название, подмигивающее азбучному характеру традиционных монархических постулатов.

13. Выходит Борхесу, чтобы доказать свое существование, достаточно было, по мысли Кэрригана, лишь приехать в Мадрид. Далее все идет само собой: «АВС» помещает информацию, некто пишет статью о несуществующей встрече, статью переводят в Париже на французский. Вот и все. А ведь мы уже знакомы с этими парижскими новостями; за шесть лет до описываемых событий именно там родилась утка о смерти Борхеса. А через двенадцать лет в Париже произойдет гипотетическая презентация антологии фантастической прозы (тоже гипотетической), якобы собранной самим аргентинским мэтром. В конце концов, Париж — место, где возникла литературная репутация Борхеса, так что где же еще печатать рассказ о не встрече с ним, как не в этом городе?

14. Нет, ради Бога, не надо! Иначе паутина случайных совпадений, неясных контуров, необязательных обязательств и смертей, подтверждающих чью-то жизнь, окончательно застит свет здравого смысла, от которого приятно иногда отступать, но вовсе не приятно лишаться его.

15. Таким образом, переводчики могут свидетельствовать только в том случае, если они *есть*, т. е. если Борхес не написал все их оригинальные труды (нам неизвестные) и все переводы, напечатанные в этой книге, т. е. если это переводчики не есть Борхес. Значит если переводчики есть Борхес, то он не может свидетельствовать о собственном существовании! Если же переводчики есть переводчики, то им свидетельствовать разрешается; однако само их свидетельство весьма зыбко. Решить же проблему «кто есть переводчики?», за отсутствием какой-либо информации об их оригинальных трудах, можно только опираясь, собственно, на английский перевод этой книги Борхеса. Но тогда он действительно *написал все это до них!*... Проблема самоидентификации переводчиков превращается в сущий кошмар, о чем и предупреждал Рид в первом письме.

16. Переводчиков опять оказывается всего двое: Рид и Кэрриган, ровеллоны, барселонский карнавал. Все это напоминает пошлую присказку: «Ты да я, да мы с тобой».

17. Удачная шутка. Среди предков Борхеса были англичане (кажется, со стороны бабушки по материнской линии), чем он очень гордился и, естественно, активно раскапывал и эти свои корни. Например:

**«Спустя пятьдесят поколений  
(пропастей отведенных временем человеку)  
на берегу далекой большой реки,  
неизвестной драконам викингов,  
я воскрешаю шершавые, неподатливые слова,  
которые (некогда ртом, а сегодня — прахом)  
складывал во времена Мерсин и Нортумбрии,  
прежде чем стать Хейзлемом или Борхесом»**

**(«К началу занятий англосаксонской грамматикой»)**

18. двоих?

19. Круг замкнулся. Держу пари, что это название того самого барселонского карнавала.

### Жанр — «Борхес»

«От себя добавлю, бывает так, что жанр связан не столько с самим текстом, сколько со способом его прочтения».

(Борхес)

Если верить Борхесу, то «классика» — это не просто свод или каталог книг, а способ их прочтения. Думаю, не будет слишком сильным предположение, что «классика» есть жанр, такой же как «мелодрама», «детектив», «антиутопия»; жанр именно чтения, а не той или иной книги; жанр, предполагающий определенный набор признаков: легкую скуку, неоднократное перечтение, гадание по случайным страницам, частое цитирование. Внутри этого жанра существует деление на «поджанры»; в русской литературе пример такого «поджанра» — «Евгений Онегин» (сюда входят и такие вещи, как «Двенадцать стульев»).

Так вот «Борхес» — это жанр, возникший на рубеже «классики» и «детектива». От первой читатель берет почти стопроцентную цитатность и настоящую страсть перечитывать эти двух-трехстраничные рассказы и эссе, от детектива — интеллектуальное напряжение, постоянную подозрительность (не надули бы!) и облегченный вздох в конце — надули-таки. Повторяю: классику перечитывают, детективы — почти никогда (исключение — Честертон, но, кажется, это тоже жанр). Таким образом, можно сказать, что писатели и их произведения делятся на жанры, поджанры, писателей и произведения.

Итак, Борхес — это жанр. К тому же — это гигантский магнит, стягивающий наше ленивое и необязательное восприятие книги в острый луч потайного фонаря; он заставляет искать борхесовские аллюзии у Сервантеса, Честертон, Кафки, Стивенсона, Свифта, Одоевского и многих-многих других, т. е. читать их «как Борхеса», считать их «Борхесом», вернее — жанром под названием «Борхес».

Нельзя сказать, что вся плохая литература — это «Борхес», или вся хорошая литература — это «Борхес», или вся загадочная литература — это «Борхес». Ведь каждый читатель сам по себе, и поэтому состав и границы жанра «Борхес» у каждого разные (а у большинства и нет вовсе этого жанра). Вот я пишу сейчас эти странички и хочу сделать «Борхеса», но вполне вероятно, что никакого «Борхеса» у меня не получится; это уже тебе решать, Дорогой Читатель.

Мне самому как читателю кажется, что вышеприведенная переписка есть

«Борхес». Для начала — предварительное замечание: читая ее (кто бы ни сочинил ее — Рид с Кэрриганом, Борхес, или автор этих строк), погружаешься в кошмарные поиски доказательств существования каких-то людей, наконец, начинаешь сомневаться за собственный рассудок и бытие. Вопрос остается открытым, а комментарии (эти уж точно мои) раскрывают только технику обмана, ни слова не говоря о его сути. Читатель с пристрастием «допрашивает» (и я вместе с ним), но движется по кругу, ибо это не жанр «детектив», а жанр «Борхес».

Кто бы ни написал эти два письма.

Имея мало истинной веры, Борхес обладал множеством предрассудков; в их числе — страсть к мистификациям, которые он, однако, любил не в духе веселых литературных капустников, а как-то по-другому, холодной и отчаянной страстью, желая раздробиться среди разных личин — от Пареди до Итурвуру; раздробиться и не собраться более никогда, перестать быть «Борхесом», оставаясь просто Борхесом. Может быть он репетировал собственную смерть?<sup>1</sup>

Может случиться, что все вышесказанное не имеет никакого отношения к этой переписке; о том, что она вышла, возможно, из-под пера Борхеса, сигнализируют два-три смутных намека как в первом, так и во втором письме, излишне называть что-то конкретное: внимательный читатель сам при желании распознает их.

А что, если Аластер и Тони существуют? Ведь они почти наверняка существуют, эти первоклассные переводчики, которым ничего не стоит состряпать элегантную стилизацию «под Борхеса» из каталонских грибов, одноруких друзей и закатов на Майорке, вставить туда пару-тройку двусмысленностей, несколько несоответствий и заставить читателя гадать — кто это, Рид или Борхес? Борхес или Кэрриган?

Но ведь это ничего не меняет, скажем мы. Абсолютно ничего. Написать мог кто угодно, тем не менее, рассматриваемая переписка есть «Борхес» и ничего больше. Надеюсь, Вы понимаете, почему?

---

<sup>1</sup> Борхес среди Горгоне: все, что интересует его, мгновенно замирает, каменеет, становясь предметом его досужего любопытства; у Борхеса никогда ничего не движется; его герои — скульптуры, его тексты — скульптурные группы под открытым небом, на фоне живописных развалин. Незрячий аргентинец ходит меж ними, столь же холодный, как и мраморные они; он пытается найти разницу, ибо герои его бессмертны, а он нет; Борхес ненавидит бессмертие и боится его; ему кажется, что бессмертие есть дурная бесконечность. Бог (или боги) наказали Борхеса — он жил чудовищно долго.

---

## *Александр Кондратов*

---

ИЗ КНИГИ «ПРУЛИ  
(памятники русской литературы)»

ИЗ ЦИКЛА «ПУШКИНОТЫ»

*НАШ ПУШКИН*  
*Пушкинский цитим*

Писушкин,  
Пирушкин,  
Печужкин,  
Поюшкин —  
    наш ляжкин,  
    нваш пьюшкин  
    нвашш Сашкин, —  
    ннвашшш  
        Пушшкин!

*Сашка Пушкин*

Пушкин — Гришка?  
Пушкин — Трешка?  
Пушкин — Гешка?  
Пушкин — Кешка?  
Пушкин — Мишка?  
Пушкин — Трошка?  
Пушкин — Тышка?  
Пушкин — Лёшка?

Пушкин — Пашка?  
Пушкин — Топка?

...Пушкин — шишка!  
**ПУШКИН — САШКА!**

**ПУШКИНСКИЕ СКЕЛЕТЫ**

***Онегинская рыба***

Мой дядя 89  
6070 имел  
Держа 599  
Храня 11 в уме.

130, 219,  
500, 413,  
17 — в 71...  
+200 (901).

Друзья! 16 и 12,  
13, 40, 50 —  
при сумме в 250  
дают 100 000 018.

4-жды 4 я —  
16, как и вы, друзья!

***Онегинская строфа***

А  
Бэ  
А  
Бэ

Цэ  
Цэ  
Дэ  
Дэ

Е  
Эф  
Эф  
Е

Же (же)  
Же (же)

**ПУШКИН В ЖИЗНИ (конспект)**

Младенчество	Горшки. Шажки.
Детство	Снежки. Смешки.
Отрочество	Прыжки. Лужки.
Юность	Стишки- божки!
Молодость	Дружки. Кружки.
Возмужание	Грешки. Должки.
Зрелость	Флажки- вершки!
Дуэль	Слушки... Вражки...
Смерть поэта	Вражки- в кишки!

**ИЗ ЦИКЛА «НЕКРАСКИ»**

*Русь (грусть)*

Хватальные квартальные  
охальные, нахальные...  
Скандалные тамошники,  
кандалные острошники,  
вассальные сапошники,  
сусальные художники,  
опальные безбошники...  
Тотальные картёшники!

За префом протестуют  
и, коль мизер, — вистуют!

*Обличительная некраска*

Вагончик. Диванчик.  
Попутчик — пузанчик  
(заводчик — кабанчик).  
Графинчик. Мерзавчик.

Чик-чик! — разговорчик,  
чик-чик — под стаканчик...  
Попутчик — лазутчик,  
мерзавчик — доносчик!

Квартальчек. Допросчик.  
Поручик — леденчик!  
Талончик — купончик.  
Вагончик — чик!  
Кончик.

**Резюме**

Виновник — поручик?  
Графинчик? Огурчик?  
Доносчик? Чиновник,  
Сановник — виновник!

**ИЗ ЦИКЛА «ГОРЬКИЕ МАКСИМКИ»**

*Портрет*

Горького  
сполна  
вкусив —  
Горький он  
стал нам —  
Максим.

Как на паспарту  
ал  
лик  
сей...  
А по паспорту  
Алексей.

*Нужная «Мать»*

Мать.  
Звать —  
Пелагея...

— Агть!

Своего апогея  
достигла  
в финале:  
постигла —  
пинали.

Рабочему — фи́га,  
прочим — кулич...

«Написали очень нужную книгу» —  
оценил эту «Мать»  
при личной встрече Ильич.

## ИЗ ЦИКЛА «РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЕРИОДА»

*Блоки без Блока*

Кириллу Кобрину — автору идеи

**Блок левый:**

Сначала символисты  
смутьянно входят  
(ранние и поздние).

**Блок правый**

На них реалисты  
хулу возводят  
(не гнушаясь газетными кознями).

*Посредине — мэтр Д.С. Мережковский.*

Потом — футуристы  
символистам на смену  
(эги + кубы).

Их хулят символисты  
за хай, за измену  
(скорпион — аполлоня сквозь зубы).

*Посередке — лектор Корней Чуковский.*

Наконец, распоясавшиеся ничевоки  
(чуть известен лишь Рюрик Рок).

Футуристы им — экивоки  
(всё-таки бывший дружок).

Ничего, никакошеньки нет в середине...  
Но вот введен соцреализм.  
Блоки распались: от водки, от плётки,  
от катаклизмо-клизм.

#### ИЗ ЦИКЛА «ОТХОДНАЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»

*Лирички (от и до)*

Щипачёвы  
Чихачёвы  
Липачёвы  
Тупачёвы

Трупачёвы  
Трепачёвы  
Хрипачёвы  
Грибачёвы

и далее в обратном порядке

О КОНДРАТОВЕ

«Свиток длинней, чем река.  
Читаю творенья Кондратова.»

Уф Во

Династия Дзынь

**Т**о, что в начале века называли авангардом, сейчас, в конце века выглядит не менее академическим способом создания предметов и явлений искусства, чем традиционный архаический способ.

Взаимоотношения между традиционализмом и авангардом, между архаистикой и новаторством такое же, как между курицей и яйцом. Неизвестно, что было раньше.

Подозреваю, что первое стихотворение первого поэта было больше похоже на «Дыр-бул-щыл», нежели на «Румяной зарею покрылся восток».

Еще вероятней, что первым поэтическим опытом было нечто простое как мычание. Или просто молчание, которое и сейчас ценится в качестве одного из высших способов выражения.

Если имена академиков исходного авангарда безвозвратно потерялись в глубине тысячелетий, то имена академиков русского авангарда нашего века известны. Их уже можно делить на старших: Хлебникова, Крученых, Хармса, Введенского (и десяток еще), средних: Г. Айги, Г. Сапгира, М. Еремина, А. Кондратова (и десяток еще) и младше-средних: В. Эрля, Б. Констриктора, А. Ника, Ры Никонову, С. Сигея (и несколько десятков еще):

Александр Михайлович Кондратов из академиков авангарда среднего поколения может быть самый разносторонний и неутомимый.

Авангардистам свойственно стремление к соединению различных искусств и к соединению искусств и наук.

Авангардизм еще более разнообразен, чем традиционализм. От нарочитого примитива до абстракции. От экспрессионизма до абсурдизма. От зауми до концепта. От будетлянства до соц-арта и многих-многих других артов.

Александр Кондратов за свою более, чем тридцатилетнюю деятельность проявил мастерство во всех этих родах и видах авангарда еще тогда, когда для некоторых из них не было изобретено соответствующего современного названия.

Он автор многих сотен текстов и многих тысяч страниц.

Этому способствует его широкая и глубокая осведомленность в новейших достижениях самых современных и самых древних наук. Эта осведомленность

придает его академическому авторитету особую основательность.

Он спортсмен, йог и казак. Это сообщает его творениям особую энергию.

В будущем обнаружится, что можно считать частным случаем авангардизма и традиционализм вместе с реализмом, романтизмом, символизмом, акмеизмом, сюрреализмом и всеми остальными разновидностями модернизма и постмодернизма.

А может быть обнаружится, что авангардизм и новаторство всего лишь очередная ступень традиционализма и архаистики.

Тогда все академики авангардизма, включая А. Кондратова станут просто классиками.

Дети будут знакомиться с ними в хрестоматиях.

---

*Сергей Сигей*

---

\* \* \*

баба сумрак рака  
венюк ногами комкан  
ласки скифа клапан  
суз котоз капкан  
чуж везуз колен оленем

\* \* \*

любездник блуда  
виснут любни  
виснут стервотел  
машут с глазокон  
машут сосцами  
лица дышат  
лица любцов

\* \* \*

лунаркая Геката  
простерзая ката  
тебя развлеката  
тебя облаката  
палачуя где ночуя  
где Диана и Луната

\* \* \*

рыбу возрыбим взорно  
нитку протянем орно  
в день тот родился Овидий  
что и ты Василиск безпублий  
ято и я балбелиск озорный

\* \* \*

волчица пустила стаю  
нектара вендетты  
ожерелием рыб улетаю  
на плечо овететы  
ожирением поз напоён  
созерцаю озера зер  
шерстью мозга опалён  
и перекаменно сер

\* \* \*

Сверкуцио в раю: вечен сверч  
улетанца  
кругиаль рояль  
сверкай  
Балталоне там же: у нас там будет одна рука  
у нас там будет одна нога  
у нас там будет тамбурин желаний  
один табурет мозга для всех  
один табун одной души  
и много света  
туши  
Другелла в аду: леленц порциаль  
любмнц охуяль

## ПАРДОН

**Э**того кота почему-то нарекли Пардоном. Это был страшный серый котик самого бандитского вида, настоящее украшение помойки. Когда он лежал на теплой палубе, в его зеленых глазах сонно дремала вся его беспугная жизнь. На трапец его затащили матросы. Ему вменялось в обязанность обнуление крысиного поголовья.

— Смотри, сука, — пригрозили ему, — не будешь крыс ловить, за яйца повесим, а пока считай, что у тебя пошел курс молодого бойца.

В ту же ночь по кораблю пронесся дикий визг. Повыскакивали кто в чем: в офицерском коридоре Пардон волок за шкуру визжащую и извивающуюся крысу, почти такую же громадную, как и он сам — отработывал оказанное ему высокое доверие. На виду у всех он задавил ее и сожрал вместе со всеми потрохами, после чего, раздувшись как шар, рыгая, икая и облизываясь, он важно продефилировал, перевалился через комингс и, волоча подгибающиеся задние ноги и хвост, выполз на верхнюю палубу подышать свежим морским воздухом, наверное только для того, чтобы ускорить в себе обменные процессы.

— Молодец, Пардон! — сказали все и отправились досыпать.

Неделю длилась эта кровавая баня: визг, писк, топот убегающих ног, крики и кровь наполняли теперь матросские ночи, а кровавые следы на палубе вызывали у приборщиков такое восхищение, что Пардону прощались отдельные мелочи жизни. Пардона на корабле очень уважали, даже командир разрешил ему появляться на мостике, где Пардон появлялся регулярно, повадившись храпеть в святое для корабля время утреннего распорядка. Он стал еще шире и лишь лениво отбегал при встрече с минером.

Есть мнение, что минные офицеры — это то флотское отродье с идиотскими шутками. Они могут вставить коту в зад детонатор, поджечь его и ждать, пока он не взорвется (детонатор, естественно). Есть подозрение, что минные офицеры — это то, к чему приводит офицера на флоте безотцовщина. Минер — это сучье вымя, короче. Пардон чувствовал подлое племя на расстоянии.

— Ну, кош-шара! — всегда восхищался минер, пытаясь ухватить кота, но тот ускользал с ловкостью мангусты.

— Ну, сукин кот, попадешься! — веселился минер.

— Как же, держи в обе руки, — казался, говорил Пардон, брезгливо встряхивая лапами на безопасном расстоянии.

Дни шли за днями, Пардон ловко уворачивался от минера, давил крыс и сжирал их с исключительным проворством, за что любовь к нему все возрас-

тала. Однако через мѣсяц процесс истребления крыс достиг своего насыщения, а еще через какое-то время Пардон удивил население корабля тем, что интерес его к крысам как бы совсем ослабел, и они снова беспрепятственно забродили по кораблю. Дело в том, что, преследуя крыс, Пардон вышел на провизионку. И все. Боец пал. Погиб. Его, как и всякую выдающуюся личность, сгубило изобилие. Его ошеломила эта генеральная репетиция рая небесного. Он зажил, как у Христа под левой грудью, и вскоре выражением своей обвислой рожи стал напоминать интенданта. Пардон погряз в провизионку через дырищу за обшивкой. Со всей страстью неприкаянной души помоечного бродяги он привязался к фантастическим кускам сливочного масла, связкам колбас полукопченых и к сметане. Крысы вызывали теперь в нем такое же неприкрытое отвращение, какое они вызывают у любого мыслящего существа. Вскоре бдительность его притупилась и Пардон попался. Поймал его кок. Пардона повесили за хвост. Он орал, махал лапами и выл что-то сквозь зубы, очень похожее на «мать вашу!».

Его спас механик. Он отцепил кота и плющадно изругал матросов, назвал их садистами, сволочами, вырожденками, скотами, «бородавками маминой писни», ублюдками и суками.

— Отныне, — сказал он напоследок, — это бедное животное будет жить в моей каюте.

Пардон был настолько умен, что без всяких проволочек, тут же превратился в «бедное животное». Свое непосредственное начальство он теперь приветствовал распушенным хвостом, мурлыкал и лез на колени целоваться. Механик, бедный старый индеец, впадал в детство, сюсюкал, пускал сентиментальные пузыри и заявлял в кают-компани, что теперь-то уж он точно знает, зачем на земле живут коты и кошки: они живут, чтобы дарить человеку его доброту.

Идиллия длилась недолго: она оборвалась с выходом в море на самом интересном месте. С первой же волной стало ясно, что Пардон укачивается до безумия. Как только корабль подняло вверх и ухнуло вниз, Пардон понял, что его убивают. Дикий, взъерошенный, он метался по каюте механика, прыгал на диван, на койку, на занавески, умудряясь ударяться при этом об подволок, об стол, об пол и орать не переставая. Останавливался он только за тем, чтоб расставив лапы блевануть куда-нибудь в угол с пуповинным надрывом, и потом его вскоре понесло изо всех дыр, отчего он носился, подскакивая от струй реактивных. В разложенный на столе ЖБП — журнал боевой подготовки — он запросто нагадил, пролетая мимо. От страха и одиночества мечущийся Пардон выл, как издыхающая гиена.

Наконец дверь открылась и в этот разгром вошел мех. Мех обомлел. Несчастный кот с плачем бросился ему на грудь за спасением, мех отшвырнул его и бросился к ЖБП. Было поздно.

— Пятимесячный труд! — зарычал он как дитя, обнимая свое теоретическое наследие, изгаженное прицельным калометанием. — Пятимесячный труд!

Пардон понял, что в этом человеке он ошибся, в нем сострадания не наблюдалось, и еще он понял, что его, Пардона, сейчас будут бить с риском для жизни кощачьей, после этого он перестал качиваться.

Мех схватил аварийный клин и с криком «Убью гада!» помчался за котом. За десять минут они доломали в каюте все, что в ней еще оставалось, потом Пардон вылетел в иллюминатор, упал за борт и, сильными рывками, поплыл в волнах к берегу так быстро, будто в той прошлой, помоечной жизни он только и делал, что плывал в шторм.

Мех высунулся с клином в иллюминатор, махал им и орал:

— Вы-д-ра-а-а!!! У-бь-ю-ю-ю! Все равно най-ду-у! Кок-ну-у!

До берега Пардон доплыл.

## НА ТОРЦЕ



Федя пошел на торец пирса. Зачем подводнику ходить на торец пирса, когда вокруг весна, утки и солнце, вот такое разлитое по воде? А затем, чтобы нетерпеливо путая свое верхнее с нижним, разворотить и то, и другое, как бутон, достать на виду у штаба, и остальной живой природы свой пестик, и, соединив себя струей с заливом, испытать одну из самых доступных подводнику радостей.

На флоте часто шутят. Разные бывают шутки: веселые и грустные, но все флотские шутки отличает одно: они никогда потом без смеха не вспоминаются...

Не успела наступить гармония. Не успел Феденька как следует соединиться с заливом, как кто-то сзади схватил его за плечи и дернул сначала вперед, а потом сразу назад!

У подводника в такие секунды всегда вылезают оба глазика. С чмоканьем. один за другим: чмок — чмок!..

Танцуя всем телом и чудом сохраняя равновесие, Федя начал оголтело захватывать струю в штаны, как змею в мешок. Пестик заводило взбесившимся шлангом... и Федя... не сохранив равновесия,... упал с криком обреченно вперед, не переставая соединяться с заливом. Казалось, его стянули за струю. Он так и не увидел того, кто ему все это организовал — не-ко-г-да было: Федя размашисто спасал свою жизнь. Его никто не доставал...

Знаете, о чем я всегда думаю на торце, лицом к морю, когда рядом весна и утки, солнце, вот такое разлитое по воде? Я думаю всегда: как бы не стянули за струю; и мне всегда кажется, что кто-то за спиной уже готов толкнуть меня за плечи, сначала вперед, а потом сразу назад.

## ЩЕЛЬ

**С**тояли мы в заводе. Ветер прижимной, а наше фанерное корыто, скрипя уключинами, должно было, как на грех, перешвартоваться и встать в щель между «Михайлом Сомовым», (он еще потом так удачно замерз во льдах, что просто загляденье) между ним, короче говоря, и этой дурой — Октябриной — крейсером «Октябрьская Революция». Там нам должны были кран-балку вмонтировать. А командир у нас молодой, только прибыл на борт, только осчастливил собой наш корабль. Он говорит помощнику:

— Григорий Гаврилович, я корабль еще не чувствую и могу не попасть при таком ветре в эту половую щель. Так что вы уж швартуйтесь, а я пока поучусь.

У нашего помощника было чему поучиться. Было. Корабль он чувствовал. Он так его чувствовал, что разогнал и со скоростью двенадцать узлов, задом, полез в щель.

Командира, стоящего при этом на правом крыле мостика, посетило удивление; коснулось его, как говорят поэты, одним крылом. Особенно тогда, когда за несколько метров до щели выяснилось, что мы задом летим на нос «Мише Сомову».

Помощник высунулся с белым лицом и сказал:

— Товарищ командир, по-моему, мы не вписываемся в пейзаж. Все, товарищ командир, по-моему...

И тут командир почувствовал корабль.

— И-и-я!!! — крикнул он в прыжке, а потом заорал: — ВРШ — ноль! ВРШ — четыре с половиной!

И наша фанерная контора, после этих ВРШ, пронеслась мимо «товарища Сомова» с радостным ржаньем.

Нам снесло все леерные стойки с правого борта, крыло мостика как корова языком слизнула, а потом уже екнуло об стенку. А ВРШ — это винт регулируемого шага, если интересуетесь, без него не впишешься в щель.

Когда мы стукнулись, помощник выскочил на причальную стенку и побежал по ней, закинув рога на спину. Командир бежал за ним, махал схваченной по дороге гантелью и орал:

— Гав-но-о!!! Лучше не приходи! Я тебе эту гантель на голове расплющу! Расшибу-у! Ты у меня почувствуешь! У-блю-док!!!

## РАЗНОС

**П**одводная лодка стоит в доке, в заводе, в приличном, с точки зрения вина и женщин, городе. В 20.00 на проходной палубе третьего отсека встречаются: командир ракетносца — он только что из города — и капитан-лейтенант Козлов (двенадцать лет на железе). Последний, по случаю начавшегося организационного периода и запрещения схода с

корабля, пьян в сиську.

Командир слегка «под-шафе» (они скушали литра полтора). У командира оторвался козырек на фуражке. Видимо кто-то сильно ему ее нахлобучил. Между козырьком и фуражкой образовалась прорезь, как на шлеме у рыцаря, в которую он и наблюдает Козлова. Тот силится принять строевую стойку и открыть пошире глаза. Между командиром и Козловым происходит следующий разговор:

- Коз-ззз-лов! Е-дре-на вош-шь!
- Таш-щ ко-мн-дир!
- Коз-ззз-лов! Е-д-р-е-н-а в-о-ш-ь!
- Таш-щ... ко-мн-дир!..
- Коз-ззз-лов! Ел-ки-и!..

Выговаривя «едрена вошь» и «елки», командир всякий раз наклонившись всем корпусом, хватается за трубопроводы гидравлики, проходящие по подволоку, иначе ему не выговорить.

Всем проходящим ясно, что один из собеседников сурово спрашивает, а другой осознает свое безобразии. Проходящие стараются проскользнуть, не попадая на глаза командиру.

Подходит зам и берет командира за локоток:

- Товарищ командир.

Командир медленно разворачивается, выдирает свой локоть и смотрит на зама через прорезь. Лицо его принимает выражение «ах ты, ах ты!». Сейчас он скажет заму все, что он о нем думает. Все, что у него накипело.

- Товарищ командир, — говорит зам, — у вас козырек оторвался.

Глаза у командира тухнут.

— Мда-а?.. — говорит он, скользя взглядом в сторону. — Хорошо... — и тут его взгляд снова попадает в Козлова. Тот силится принять строевую стойку.

— Козлов!!! — приходит в неистовство командир. — Коз-ззз-лов!!! Е-д-р-е-н-а в-о-ш-ь!!!

- Таш-щ... ко-мн-дир...

## ХАЙЛО

**Э**то нашего старпома так звали. Обычно после неудачной сдачи задачи, он выходил перед нашим огромным строем, снимал фуражку и низко кланялся во все стороны.

— Спасибо (еще ниже) спасибо... спасибо... обкакали. Два часа на разборе мне дерьмо в голову закачивали, пока из ушей не хлынуло. Спасибо! Работаеть, как негр на плантации с утра до ночи в перевернутом состоянии, звезды смотрят прямо в очко, а тут... спасибо... ну теперь хрен кто с корабля сойдет на свободу. По-хорошему не понимаете. Объявляю оргпериод на всю оставшуюся жизнь. Так и передайте своим мамочкам, — потом он одевал

фуражку набекрень, осаживался и добавлял: — Риф-лен-ны-е па-пу-а-сы! Перья распушу, вставлю вам всем в задницу и по ветру пуцую! Короче, фейсом об тейбол будет теперь зври дей!

Старпом у нас был нервный и нетерпеливый. Особенно его раздражало, если кто-нибудь в люк центрального опускается слишком медленно, наступая на каждую ступеньку, чтоб не загреметь, а старпом в это время стоит под люком и ему срочно нужно вверх. В таких случаях он задирает голову в шахту люка и начинал вполне прилично:

— Чья это там фантастическая задница, развевающаяся на ветру, на нас неукротимо надвигается? — после чего он сразу же терял терпение. — А ну скорей! Скорей, говорю! Швыгче там, швыгче! Давай ляжкой, ляжкой подрабатывай! Вращай, говорю, суставом, грызло конское, вращай! — потеряв терпение, он вопил. — Жертва аборта! Я вам! Вам говорю! И нечего останавливаться и смотреть вдумчиво мне между ног! Что вы ползете, как удивленная, беременная каракатица по тонкому льду?

«Удивленная, беременная каракатица» сползала и чаще всего оказывалась женщиной, гражданским специалистом.

И вообще, наш старпом любил быстрые, волевые решения. Однажды его чуть крысы не съели. Злые языки рассказывали эту историю так. Торжественный и грозный старпом стоял в среднем проходе во втором отсеке и в цветных выражениях драл кого-то со страшной силой:

— ... Вы хотите, чтоб нам с хрустом раскрыли ягодицы?.. а потом длительно и с наслаждением насильовали?.. треснувшим черенком совковой лопаты... вы этого добиваетесь?..

И тут на него прыгнула крыса. Не то, чтобы ей нужен был именно старпом. Просто он стоял очень удобно. Она плюхнулась ему на плечо, пробежала через впуклую грудь на другое плечо (причем голый крысиный хвост мазанул старпома по роже) и в прыжке исчезла.

Старпом, храня впечатление крысиного хвоста, вытащил глаза из амбразур и как болт проглотил. Обретя заново речь, он добрался на окосевших ногах до «каштана» и завопил в него:

— Ме-ди-ка-сю-да! Этого хмыря болотного! Лейтенанта Жупикова! Где эта помятая падла?! Я его приведу в соответствие с фамилией! Что «кто это»? Это старпом, куриные яйца, старпом! Кто там потеет в каштан?! Кирпич вам на всю рожу! Выплюньте все изо рта и слушайте сюда! Жупикова, пулей чтоб был, теряя кало на асфальт! Я ему пенсне-то вошью!..

Корабельные крысы находятся в заведовании у медика.

— Лейтенанту Жупикову, — передали по кораблю, — прибыть во второй отсек к старпому.

Лейтенант Жупиков двадцать минут метался между амбулаторией и отсечными аптечками. На амбулатории висел амбарный замок, у лейтенанта не было ключа (химик-санитар, старый козел, закрыл и ушел в госпиталь за анализами). Лейтенанту нужен был йод, а в отсечных аптечках ни черта нет (рас-

курочили, сволочи). На его испуганное «что там случилось?» ему передали, что старпома укусила крыса за палец и теперь он мечтает увидеть медика живьем, чтобы взвесить его сырём.

Наконец ему нашли йод и он помчался во второй отсек, а по отсекам разнеслось:

— Старпома крысы сожрали почти полностью.

— Иди ты...

— Он стоит, а она на него шась — и палец отхватила, а он ее журналом хрясь! и насмерть.

— Старпом крысу?

— Нет, крыса старпома. Слушаешь не тем местом.

— Иди ты...

— Точно...

Лейтенант прилетел, как ошпаренный, издали осматривая пальцы старпома. От волнения он никак не мог их сосчитать: то ли девять, то ли десять.

— Подойдите сюда! — сказал старпом грозно, но все же со временем быстро поостыв. — Куда вас поцеловать? Покажите, куда вас поцеловать, цветок в проруби? Сколько вас можно ждать? Где вы все время ходите, с лунным видом, яйца жуete? Когда этот бардак прекратится? Да вы посмотрите на себя! У вас уже рожа на блюде не помещается! Глаз не видно! Вы знаете, что у вас крысы пешком по старпому ходят? Они же у меня скоро выгрызут что-нибудь между прочим между ног! Пока я ЖБП буду писать, в тапочках! Только не юродствуйте здесь! Не надо этих телодвижений! Значит так, чтоб завтра на корабле не было ни одной крысы, хоть стреляйте их, хоть целуйте каждую! Как хотите! Не знаю! Всё! Идите!

И тут старпом заметил йод и лицо его подобрело.

— Вот, Жу-упиков, — сказал он, старательно вытягивая «у», — молодец! Где ж ты йод-то достал? На корабле же ни в одной аптечке йода нет. Вот, кстати, почему все аптечки разукомплектованы? Выдра вы заморзкая, а? Я что ли за этим дерьмом следить должен? Вот вы мне завтра попадетесь вместе с крысами! Я вам очко-то проверну! Оно у вас станет размером с чашку петри и будет непрерывно чесаться, как у пьяного гамадрила с верховьев Нила!

Слышали, наверно, выражение: «вот выйдешь, бывало, раззявишь хлебало, а мухи летять и лётять»? Именно такое выражение сошло с лица бедного лейтенанта после общения его со старпомом.

Но должен вам доложить, что на следующий день на корабле не было ни одной крысы. Я уж не знаю, как Жупикову это удалось? Целовал он их, что ли, каждую?

## ПАРАД

**П**раздничный парад. Офицерскую «коробку» — восемь на шестнадцать — привезли на площадь заранее. Начинается отстой. Морозно. Холодрыга. Холод залезает в рукава, в брюки и кусается за офицерские ляжки.

Шинель — тропическая форма одежды. От тропиков до полбоса офицер Флота Российского носит шинель. Различаемся только нижним бельем.

Б-р-р! Не очень-то и постоишь, черт возьми!

По случаю холода строй гудит. К строю подходит старший офицерской «коробки» капитан первого ранга в «шапке с ручкой».

Вопрос: «Зачем капитанам первого ранга "шапка с ручкой"?»

Ответ: «Чтобы бакланы не гадили на рожу.» — «А у кого нет шапки?» — «Пускай гадят.»

— Прекратить болтовню в строю!

Из строя:

— Не кисло! А чего потом-то?

— А он и сам не знает.

— Прекратить разговоры!

Гул слабеет и переносится в середину строя.

— Рав-ныйсь! Смирно! Вольно!

«Старший», потоптавшись, отходит. Холод и бесцельное ожидание надоели и ему. У нас всегда так — выгонят народ заранее и — пол-дня стоишь.

Середина начинает гудеть, как улей, потерявший матку. Слышны только те фразы, что громче общего фона.

— А если в строю не болтать непрерывно, то чем же в строю непрерывно заниматься?

— Непрерывно равняться.

— Чего стоим-то?

— Ефрейторский зазор.

— А то б походили, поорали чего-нибудь... героическое.

— Ну и глупый же я...

— Чего ж так поздно...

— Ну не-ет, войну мы выиграем... Мы ее начнем заранее...

— Чтобы встретить ядерный взрыв в строю и при всеоружии, надо что сделать?

— Что?

— Надо всех построить и не распускать строя...

— Ну и праздник! Хуже субботы!

— У военных не бывает праздников. Есть только мероприятия по подготовке к празднованию и план устранения замечаний...

— Вадик, а Вадик! Никак не пойму, чем мне нравится твоя кургузая шинель? Ты что в ней купаешься что ли? Или бетон месить?

— Я в ней плавал по заливу...

— Ботиночки-то на тонкой подошве...

— Это не ботиночки, а слезы скорохода...

— А завтра еще и строевая прогулка.

— Кто сказал?

— Не «кто сказал», а по плану...

— Это в выходной-то? Ну собаки...

— Интересно, кто ее придумал?

— Тот, кто ее придумал, давно умер и не успел сообщить, для чего он это сделал.

— Прогулка нужна для устрашения.

— Ага, гражданского населения. «Пиджаки» совсем охамели.

— Прогулка нужна для укрепления боеготовности.

— Да для ее укрепления я даже сейчас готов снять штаны и поведнуться ко всем голый...

— Во, холодрыга, насквозь пробирает. У меня уже писька втянулась вместе с ребятами и остались три дырки.

— Офонарели они что-ли? Я же с каждой минутой теряю политическую бдительность...

— Сейчас чаю бы...

— Лучше водки...

— Размечтался...

— И ба-бу-бы...

— Ну, началось...

— А ты знаешь здешнюю формулу любви?

— Ну?

— Стол накрыт, женщины ждут и никто не узнает.

— Надо попрыгать, а то застудят мне братана, чем я потом размножаться-то буду? У меня ж редкий генетический код!

— Да ну-у?

— Ну да-а!

Строй кольшется, подпрыгивет, в середине уже толкаются, чтоб согреться.

«Старший» подает команду:

— Курить! С мест не сходить! Окурки — в карман!

— Чего он сказал?

— Курить, говорит, на месте, а окурки — в карман соседу.

Строй доволен. Строй закуривает. Клубы дыма, сквозь которые видны головы.

— Давно бы так...

— Вадя, а ты уже дымишь из кармана.

— Какая собака подложила, ты, что ли?

— С-с-мир-но!

— Курение прекратить!

Прибыл самый главный морской начальник.

Строевым шагом «старший» к нему. Аж трясется от напряжения, беденький. Начальник идет в развалочку. Вот этим отличается флот от армии: младший рубит строевым, а старший — в развалочку. В армии рубят одинаково.

— 3-3-д-равс-твуй-те товарищи!

— Здрав-жела-това-щ-капитан пер-ранга!

— Па-з-драв-ля-ю в-ас!

Короткое гавкающее троекратное ура.

— К торжествен-но-му мар-шу... в-ознамено-ва-нии... по ротно... на одного линейного дистанции... первая рота прямо... остальные напра-а-а-во! Равнение на-пра-во... Ша-г-о-о-м... Ма-арш!

«Коробка» поворачивает и идет на исходную позицию. Старший суетится, забегает, что-то вспоминает — перебежками к последней шеренге, где собрана вся мелкота.

— Последняя шеренга, — шипит он с придыханием, — последняя шеренга! Равнение, не отставать. По вам будут судить о всем нашем происхождении. Вы — наше заднее лицо! Так что не уроните, ясно?!

— На-ле...ВО!! Прямо!!!

Одеревеневшие ноги бьют в землю. Шеренги... шеренги... головы... студеные лица...

— ...Подтянулись! Ногу... ногу взять! Равнение на право!

Огромными прыжками, непрестанно матерясь, догоняет остальных последняя шеренга... наше заднее лицо...

Она не уронит...

## ОФИЦЕРА МОЖНО...

**О**фицера можно лишит очередного воинского звания или должности, или обещанной награды, чтоб он лучше служил; или можно не лишать его этого очередного звания, а просто задержать его на какой-то срок, на какое-то время, лучше на неопределенное, чтоб он все это время чувствовал; можно не отпустить его в академию или на офицерские курсы, или отпустить его, но в последний день и он туда опоздает, и все это для того, чтоб он ощутил, чтоб он понял, чтоб он прочувствовал, что все не так просто; можно запретить ему сход на берег, если это конечно корабельный офицер, или объявить ему лично оргпериод, или спускать его такими порциями, чтоб он понял, что ему нужно лучше вести себя в повседневной жизни, а можно отослать его в командировку, или туда, где ему будут меньше платить, где он лишится северных надбавок, а еще можно продлить ему на второй срок службу в плавсоставе, или продлить ему ее на третий срок, или на четвертый,

или все время отправлять его в море, на полигон, на боевую службу, а квартиру ему не давать, и жена его, в конце концов, уедет из гарнизона, потому что кто же ей продлит разрешение на въезд и проживание, муж-то на боевой службе, или дать ему квартиру — «берите, видите, как о вас заботятся» — но не сразу, а лет через пять-восемь, пятнадцать-восемнадцать, — пусть немного еще послужит, проявит себя, а можно объявить ему, мерзавцу, взыскание: выговор, строгий выговор, «предупреждение о неполном служебном соответствии» — объявить и посмотреть как он реагирует; а можно еще сделать так, что он никуда не переведется после десяти лет «безупречной службы» и будет вечно гнить, сдавая на допуск к самостоятельному управлению, а на службе можно контролировать каждый его шаг — и на службе, и в быту — можно устраивать ему внезапные «проверки» какого-нибудь «наличия» или комиссии, инспекции, учения, предъявления, тревоги, а можно не дать ему какую-нибудь «характеристику» или «рекомендацию» или дать, но такую, что он долго будет отплеиваться; можно лишить его премии, «четырнадцатого оклада», полностью, либо частично; можно не отпустить его в отпуск или отпустить, но тогда, когда никто из нормальных в отпуск не ходит, или можно отпустить его по всем приказам, а отпускной билет у него за что-нибудь отобрать и положить его в сейф, а самому уехать куда-нибудь на неделю — пусть побегает, попереживает, или заставить его в отпуске ходить на службу и проверять его ежедневно и докладывать о нем ежечасно; а можно, в конце-то концов посадить его мерзавца, на цепь, то есть, я хотел сказать, на гауптвахту и с нее отпускать только в море! или можно уволить его в запас, когда он этого не хочет, или, наоборот, не увольнять его, когда он сам хочет поскорей уйти, поддержать, или нарезать ему пенсию меньше той, на которую он рассчитывает, или рассчитать ему неправильно при увольнении выслугу — пусть побегает — или рассчитать его за день до полного месяца или полного года, чтоб ему на полную выслугу не хватило одного дня.

И вообще с офицером можно сделать столько! Столько можно с ним сделать! Столько с ним можно совершить, что грудь моя от восторга переполняется и от восторга я просто немею!

## УЧЕНИЕ

**М**ороз дул<sup>1</sup>. Чахлое солнце, размером с копейку, мутно что-то делало сквозь небесную серь. Под серью сидел диверсант. Он сидел на сопке. На нем был непроницаемый комбинезон, мехом внутрь, с башлыком и электроподогревом. И ботинки на нем тоже были. Высокие. Непромокаемые. Наши. И диверсант тоже был наш, но привлеченный со стороны — из диверсантского отряда. Ночевал он здесь же. В нашем снегу. А теперь он

---

<sup>1</sup> те, кто испытал на себе мороз, знают, что так можно сказать.

ел. Тупо. Из нашей банки консервной. Он что-то такое в ней отвернул-повернул-откупорил и стал есть, потому что банка сама сразу же и разогрелась.

Широко и мерно двигая лошадиной челюстью, диверсант в то же время смотрел в подножье. Сопки, конечно. Он ждал, когда его оттуда возьмут.

Шел третий день учения. Неумолимо шел. Наши учились отражать нападение — вот таких электро-рыбо-лошадей — на нашу военно-морскую базу.

Был создан штаб обороны. Была создана оперативная часть, которая и ловила этих приглашенных лошадей с помощью сводного взвода восточных волкодавов.

Справка: Восточный волкодав — мелок, поджарист, вынослив, отважен. Красив. По-своему. Один метр с четвертью. В холке. А главное — не думает. Вцепился — и намертво. И главное — много его. Сколько хочешь, столько бери и еще останется.

Волкодавов взяли из разных мест в шинелях с ремнем, в сапогах с фланелевыми портянками на обычную ногу, накормили на береговом камбузе обычной едой, которую можно есть только с идейной убежденностью и пустили их на диверсантов. Только рукавицы им забыли выдать. Но это детали. И потом у матроса из страны Волкодавии руки мерзнут только первые полгода. А если вы имеете что сказать насчет еды, так мы вам на это ответим: если армию хорошо кормить, то зачем ее держать!

Шел третий день учения. В первый день группа нашего захвата, одетая во все наше, прорвалась в штаб. Прорвалась она так: поделилась пополам, после чего одна половина взяла другую в плен и повела прямо мимо штаба. А зам. командующего увидел через окно как кого-то ведут и крикнул:

— Бойцы! Кого ведете?!

— Диверсантов поймали!

— Молодцы! Всем объявляю благодарность! Ведите их прямо ко мне!

И они привели. Прямо к нему. По пути захватили штаб.

Во второй день учения «рыбы» подплыли со стороны полярной ночи и слюдяной воды и «заминировали» нам все корабли. Последняя «рыба» выплыла на берег, переодетая в форму капитана-первого ранга, проверяющего по документам, и, пройдя на ПКЗ, нарезало верхнему вахтенному — нет-нет-нет — только сектор наблюдения за водной гладью. А то он не туда смотрел. Только сектор и больше ничего. И чтоб все время! Как припаянный! Не моргая. Наблюдал чтоб. Неотрывно. Во-он в ту сторону.

И вахтенный наблюдал, а «товарищ капитан первого ранга, проверяющий», зашел по ходу дела к командиру дивизии, штаб которого размещался тут же на ПКЗ. (По дороге он спросил у службы: «Бдите?!» — Те сказали: «Бдим!» — «Ну-ну, — сказал он, — так держать!» и поднялся наверх.) И арестовал командира дивизии, вытащил его через окно, спустил с противоположного сектора и увез на надувной лодке. Причем лодку, говорят, надувал сам командир дивизии под наблюдением «проверяющего». Врут. Лодка уже была

надута и стояла вместе с гребцами у специально сброшенного шторм-трапика. Шелкового, такого. Очень удобного. Хорошая лодка. Мечта, а не лодка.

Вахтенный видел, конечно, что не в его секторе движется какая-то лодка, но отвечал он только за свой сектор и поэтому не доложил. Так закончился второй день.

На третий день надо было взять диверсанта. Живьем. На сопке. Вот он сидел и ждал, когда же это случится. А наши стояли у подножья, указывали на него и совещались возбужденно. Наших было человек двадцать и они поражали своей решительностью. Вместе со старшим. Он тоже поражал.

— Окружить сопку! Касымбеков! Заходи! — наконец скомандовал старший и они начали окружать и заходить.

Волкодавы пахали снег, по грудь в него уходя, плыли в нем и неумолимо окружали. Во главе с Касымбековым. Не прошло и сорока минут, как первый из них подплыл к диверсанту. Первый радостно улыбался и задышался.

— Стой! — сказал он. — Руки вверх! — после чего силы у него иссякли, а улыбка осталась.

Диверсант кончил есть, встал и лягнул первого. В следующие пятнадцать минут к тому месту, где раньше стоял первый, сошлись остальные. Еще десять минут были посвящены тому, что волкодавы, входя в соприкосновение с диверсантом, не переставая улыбаться и азартно, по-восточному, кричать, взлетали в воздух, сверкая портянками, а затем они сминали кусты и летели, летели, вращаясь, вниз, и портянки наматывались им вокруг шеи. Это было здорово! Потом диверсант сдался. Он сказал:

— Я сдаюсь. — и его взяли. Живьем. Упаковали и понесли на руках.

Так закончился третий день.

С этого дня мы начали побеждать.

## ЦИКЛОП

**Р**овно в три часа ночи, когда созвездие Овна, вместе со всеми остальными созвездиями, занималось в небе своими делами, Архимед Ашотович Папазян, по прозвищу «усохший Тарзан», сел на кровати с криком «Только не бей!». «Только не бей, — повторил он значительно тише и затравленно оглядел свою холостяцкую комнату, еще секунду назад спокойную, как общественная уборная. Мама больше не приходила к нему во сне. Мама не звала его больше «джана», и душа больше не наполнялась радостным, светлым детством, все было отравлено и чесалось. Ему снился циклоп. Каждую ночь. Он бежал, выпучившись, в запутанных джунглях, подпрыгивая винторогим козлом, а ветви гоготали и цеплялись. И рука. Огромная рука, беззвучно вырастая, тянулась за ним. На многие километры. Он чувствовал ее леденевшим затылком. Нет сил! Нет сил бежать! Остановился. Повернулся. Задранный ужас! Невозможно кричать! К горлу бросились растущие пальцы с

грязными обломанными ногтями. Огромные складки потной рожи. «Только не бей!!!»

Свет зажегся и с носа закапало. Потом. Очки оделись и глаза через них тут же пушисто захлопали. Архимед Ашотыч всклокоченно обернулся на одухотворенное лицо лорда Байрона, намертво приделанного к обоям, и, поискав в волосатых складках живота, зачарованно замер, как собака, принимающая сигналы блохи. В тишину ночную влетались только торопливые курлыканыя унитаза, да на кухне, в одиночку, веселилась радиоточка.

Архимед Ашотыч застонал переполненным страдальцем, запрокинул голову, с утрывающимися за горизонт зрачками, успел увидеть потолок с забитыми комарами и бережно уложил себя на подушки. Пружины заезженной койки вздохнули народным музыкальным инструментом, веки затяжелели, члены замягчели с каждым вздохом и в брэнное тело снова хлынули сновидения. Голубой пеньюар. Лампадная ночь. Тучи запахов. Фимиамы. Грациозные прыжки, перепархивания, улыбки-пожатья, персеичный румянец от подглазников до подбородка, кофе, тонкие чувства, полные, гладкие колени, ощущение от которых остается в руках, караванные движения дивана, в короткой борьбе возня пружинная и сытая тишина.

Самый отвратительный звук для такой тишины — звук ключа в замочной скважине. Возникает обостренное чувство долгопоротога.

Звук возник, пеньюар, завизжав раздавленной торговкой, вспорхнул, оставив Архимеда одного оплакивать себя.

Архимед Ашотыч вскочил и заметался по комнате так, будто он затапывает стадо неприятельских тараканов. В конце концов, ничего не придумав, он юркнул в шкаф, убеждая стартерно заработавший желудок помягче мяукать, и затих там платяной молью.

В дверях стоял циклоп! Пойманный за лацканы пеньюар перестал визжать уже в табурете. В комнате ходило только кадило. Маятника.

Глаз у циклопа было два, но они так близко росли и выглядывали друг от друга, что если посмотреть взволнованно, то сливались в один; череп пещерного медведя, чугунная нижняя челюсть, нос и общая физиономия викинга, получившего веслом по голове: тяжелый, пышущий убийством квадрат.

Желудок Архимед Ашотыча совсем уже собирался взять и чем-нибудь разрядить обстановку, когда долго колебавшаяся дверь шкафа решилась и, закатив задумчивую трель, верноподданнически открылась.

«А-а...» — сказал «квадрат», увидев в платях живое, и шагнул всего один раз.

Архимед Ашотыч, выставив вперед ручонку, заерзал, совершая ей фехтовальные движения до тех пор, пока рука циклопа не протянулась медленно и не достала Архимеда не поймешь за что. Архимед Ашотыч развезался в той же руке ящерицей-круглоголовкой всего одну секунду.

«Только не бей!» — взял он самую последнюю ноту самой последней октавы, с иканьем перебрав всю клавиатуру. Грянуло! Прямо в лоб, туда, где

кость. Горный обвал. Сель. Архимед Ашотыч быстро улетел по воздуху и, погасив все вешалки в шкафу, оторвал внизу щелкнувшими губами кусок пурпурного платья. Все волосы на груди, собравшись в пучок, дружно болели.

«Только не бей!!!» Свет уличного фонаря отразился в страдальческом оскале, щетинистый кадык проглотил, наконец, душившие его слюни. В окно смотрела ночь и Архимед Ашотыч, только теперь понявший, что как, все-таки, хорошо, что он жив, жив! упал в подушки и мелко залился, закатился счастливым щебечущим смехом, вздрагивая плечами в волосатых эполетах.

В небесах горел Воз, в шутку названный Медведицей, и лорд Байрон, из другого века, смотрел с обоев возвышенный и одухотворенный.

### Я ГОВОРЮ ВСЕМ...

**Я** говорю всем: прихожу домой, одеваю вечерний костюм-тройку, рубашка с заколкой, темные сдержанные тона; жена — вечернее платье, умелое сочетание драгоценностей и косметики, ребенок — как игрушка; свечи... где-то там, в конце гостиной, в полутонах, классическая музыка... второй половины... соединение душ, ужин, литература, графика, живопись, архитектура... второй половины... утонченность желаний... и вообще... Никто не верит!

## КАРТИНЫ БЕСТИАРИЯ

**С**вод стихов назван «Картины бестиария», а не «Бестиарий», и это не случайно. Жанр средневековой книжности «Бестиарий», в русской традиции известный под названием «Физиолог», включал в себя аллегорические изображения, чаще всего мифических ирреальных чудовищ с нравоучительным комментарием. В создании этих стихотворений как первоначальный предлог, пища для интуиции, были использованы отдельные изображения английского Бестиария конца XII века. Главенствующая овязующая тема этих аллегорий, поэтически истолкованных, одинокое брение духа на пути воссоединения со своей первоосновой, с Богом. Не следует усматривать в стихах строгий богословский комментарий средневековых аллегорий. Поскольку это стихи, автор позволяет себе толковать изображения в духе поэтической вольности. Ассоциативно-культурологическое наполнение текстов представляет как бы эволюцию смысла и метафизики картин Бестиария, в которых многие создания еще дохристианского мифопоэтического сознания получили истолкование в духе христианского догмата. Главной надеждой и стремлением автора было передать в стихах трелетность поиска живой современной души, открывающей свои страхи, падения и взлеты в мифических снах минувшего человечества. Не случайно потому цикл завершает стихотворение «Лицо», где такому же толкованию, как прежде аллегории Бестиария, подвергается лицо человека — форма, воплотившая в себе все перипетии эволюций предшествующих и будущих.

Стихи сопровождаются кратким каноническим описанием изображений Бестиария и авторским комментарием достаточно закрытого текста.

### *Онокентавр*

Кентавр — природы ратоборец, не двоедушие змен.  
Я грежу мудростью твоей лесной, печальной.  
И для меня славнейшее из тавр  
На лбу высоком дерзкое — «Кентавр».

Онокентавр. Получеловек-полуосел. Символизирует двоедушие, усиленное традиционной змеей.

Стихотворение спорит со средневековым смыслом аллегории. Герой стихотворения античный кентавр, первая и величественная в мощи и красоте своей фаза отделения человеческого от природного. Автору представляется мужество и мудрость учителя Ахилла кентавра Хирона, а уже никак не полуослиное

упрямство.

### *Сирены*

**Стихий смесительницы,  
Рыбо-птицы бедоносные...  
Какие чары затевает ваш напев  
Над падкою душой поэта,  
Когда спешит он, бороздя миры,  
До теплой золотой Итаки,  
Когда над головой в ряби Эоновой  
Мутнеют Рыбы?**

Сирены. Полуптицы-полурыбы. Обольщают не видом, а голосом.

Античные сирены не были полурыбами. Эта особенность заинтересовала автора. Герой стихов — странник, поэт, эхо, отзывчивое до всего и потому междумирное «недоносок», как сурово и горько называет его в своих стихах Баратынский. Не пасть в смесительное лоно матери — его путь к дому Отца. И путь этот указывает Сын. Его символ — Рыба.

### *Единорог*

**Едяврог, до сердца Девы льнущий  
из темных кущей  
жизни,  
Урок душе,  
текущей в лоно.  
Как солоно  
бежит ручей  
слезами, кровью Сына  
Туда, где бьет  
прибой негаснувших лучей.**

Единорог. Как поймать единорога? Привести в лес юную деву. Чистота и целомудрие приманят зверя. Он подойдет к деве и почует у нее на груди. Верный спутник прекрасной дамы, но и символ единения Христа и Бога-отца: единственный рог.

В единороге поражает трагизм его очарованности сердцем Девы. Наверное, потому он сделался аллегорией Христа и льнущего к Богу-отцу сердца Спасителя.

## *Гидра*

Семиглав во священных языцех —  
Приглашение к подвигу.  
Сердце возвысив до писемьян несмываемых,  
жди:  
Зверь от падучей звезды пробуждается рыан.  
Кладенец из колодезя дольного,  
Заозерья, залесья, заточья невольного  
Долей, волей взыграет — зарей.  
Зверь глаза неподвижные знает,  
Трубит, возглашает:  
Верховой, ездовой,  
Отвори сердце злое копьем,  
Гордым чести огнем.

Гидра. Пятиглавый дракон. Правоспомянутое семиглавого дракона Апокалипсиса. Приглашение к свершению подвигов и геройств.

Стихи исполнены сказочно-славянским духом, духом неперемкнутой победы добра. От этого суровость апокалиптического зверя становится более природно примирительной, чем духовно обостренной. Заря неминуемо встает из-за темной кромки леса и в этой неминуемости опора надежды. Стихи явились как будто аллегорией надежды.

## *Харадр*

Глазастая птица,  
Пернатый Господь  
Нас каждое утро встречает  
И силу вливает нам —  
Встать и идти  
И крест свой прилежно нести.

Харадр. Перья ее белизны слепящей. Предсказывает больному, умереть ему или выздороветь. Отворачивается от того, кому суждено умереть, и смотрит в упор на того, кому предназначено выжить. Все болезни берет на себя, устремляясь к солнцу, чтобы развеять болезни по свету. Иносказание Христа.

Одушевление стихов в том, как изумляется душа ежеминутно воле, попирающей смерть.

### *Амфисбена*

**Змея двулика, словно Янус.  
Свобода есть в ее полете,  
пробадающем простанства  
до грани временной.**

Амфисбена. Змея о двух головах — спереди и на хвосте. Двигается в любом направлении, не поворачиваясь.

Воинственный смысл средневекового чудовища, известного еще по поэме Лукана «Фарсалия», где Амфисбена атакует в африканской пустыне римские легионы, в стихе обрел инобыгние сочетания трех категорий — Свободы, Пространства и Времени. В этой фантазии нет никакого учительного и толкующего содержания, нет аллегоризма. Амфисбена и не является аллегорией, она есть воплощение древних ужасов человека. Дракон же в предхристианских культурах и вообще, в более обширном пространстве смысла, чем статика аллегории, не только противостоящее, угрожающее начало. Стихи — пример динамической аллегории, по существу символа с текучим, становящимся смыслом.

### *Змея Эмморонс*

**О, Заклинатель, обрати гаданье к птицам,  
А Эмморонсу оставь его нору —  
Подземный капилляр, колодезь смерти нашей,  
в нас притихший.**

Змея Эмморонс. Выжимает из человека кровь, так что жизнь сама уходит из тела. Вариант об аспиде, прячущемся в норе — прибежище плотских желаний. А заклинатель выманивает его из норы.

Стихотворение выстраивает вертикаль взгляда, обращенного снизу вверх, преодолевающего смертность материального.

### *Феникс*

**Лебедь, песней дрожащая,  
В огне родящая,  
В пепле, в Духе дарящая —  
Феникс.**

Феникс. Собрав благовонные ветви и запалив из них костер от жара лучей солнца, сжигает себя на костре, вновь возрождаясь из пепла. Иносказание Иисуса Христа: смерть и воскресение.

Стихи прибавляют к иносказанию мотив прощальной смертной песни: Рождения в смерти, через попрание смерти.

*Дракон душит Слона.  
Иносказание дьявольской мощи.*

**Слон не прадушен Змеей,  
Вопиет мальчик-с-пальчик гигантский  
из утробы ее.  
Это детский рисунок Экзюпери  
в вешей книге времен.**

Дракон душит Слона. Иносказание дьявольской мощи: не ядом, но силою...

Ассоциация с рисунком из «Маленького принца» обращает к заповеди Спасителя: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное...» Детскость, заповеданная Христом, живет в доброй фантазии Экзюпери. И не силой силу ломит, но не искаженной еще жизнью способностью любить.

*Морские свиньи*

**Тревожат заповедный  
как Нил родящий ил морей  
морские свинки.  
Им не помеха свищуший Борей.  
Лишь двое пастухов,  
С небес упавших, им указ,  
две рыбы: Меч и Скорпион.**

Морские свиньи. Они любят рыть землю под водой. Им сопутствует рыба-меч и рыба-скорпион.

Многосмысленная и вольная аллегория непросвещенных, копающихся в родящем иле земном, и к которым Спаситель предостерег обращаться Апостолов, над которыми сильны лишь меч и страх. Но и сам он говорил, что не мир, но меч принес на Землю.

*Онагр*

**Зевс в лошадином облаче Онагр  
пожирает детенышей дивных.  
Не кровожадностью прекратить  
колеса превращений унылых.**

Онагр-отец хочет оскотить своих мальчиков, а мать, напротив, хочет защитить

их от сего. Воздержание или продолжение рода?

Стихи — аллегория вольная, скорее метафора, обращающая к античному мифу, к вечной мистерии пожирающего жизни времени, которое дано остановить, лишь возвысившись духом.

*Василиск*

**Как поединок Яла с Василиском  
на геральдическом турнире мне знаком!  
Лишь слабостью управляю я с осклизлым  
смертоносным петухом.**

Василиск. Убивает одним своим взглядом. Обезоружить его можно лишь лаской. Вылупляется из яйца, снесенного петухом. Обычно изображается в виде крылатого змея с роловой и гребнем петуха, хвостом дракона, крыльями лебеда и птичьими лапами со шпорами.

Стихотворение начинается геральдической печаткой — поединком рогатого Яла с Василиском. Напоминая о главном моменте всех стихов — борении. Далее же следует апофеоз великой слабости, побеждающей жизненным теплом жестокость и жесткость смерти.

*Антолоп*

**Олень охоты вечной — Антолоп.  
Кто лоб его пометил косточкой весенней,  
Где дерево распятыя расцвело  
меж костяных ветвей, двух —  
Ветхой и заветно Новой?  
Кто днесь в молитве посреди дубровы?**

Антолоп. Уповая на два рога этого животного — на Ветхий завет и Новый завет, человек способен одолеть в себе сребролюбие, зависть, гордыню и похоть, страсть к вину и соблазн прелюбодеяния...

Мотив весенней охоты соединил в себе фантазию Дюрера, тему гравюры «St. Eutace» и сказочку о бароне Мюнхгаузене. Соединение капризно произвольное, но хранящее в себе аромат Христова радования твореньем, отвергающего уныние как тяжкий грех. Важно здесь и сопряжение очень далеко отстоящих по времени и смыслу реалий, которое порождает глубину и напряженность символа.

## Лицо

Лицо — туманность загустевшая,  
Пунктирами Весны горевшая.  
Как мне знаком и незнаком твой лет  
С мирами к центру — в синий сектор спектра.  
Какая скорбная Электра  
    пропела твой рельеф?  
О, сколько мириад зверей и лет  
    тебя слагало!  
Восьмиконечная звезда — Мандала!  
Какая сила напрягала лук бровей —  
из тьмы неандертальской — к абрису Мадонн?  
Кто выкрутил твой стон  
    и насаждал твой смех  
Под сводом совершенным рта?  
Чья нагота сквозит в глазах,  
Порою обращенных в Хаос-страх?  
Что ты свидетельствуешь?  
Просто грусть?  
Гляжу, не нагляжусь.

ДВА РАССУЖДЕНИЯ ПО ПОВОДУ...

1. По поводу одной фразы.

**Н**екоторых писателей хвалят за сдержанность, вкус, умение владеть своими порывами. В контексте десятилетия чья-то сдержанность и впрямь может показаться чуть ли не мужеством. Но. Писать сдержанно — это заведомо играть на ничью. Избыточность — мета гения. Фолкнер играл на выигрыш — без верхнего предела в счете» (И. Померанцев). Ах! Если бы романтики оказались правы... Художник-титан (раблезианская натура), не знающий меры в своем человекобожии... Однако титанизм имеет теневую сторону (не только в смысле расхожей морали, впрочем, расхожая мораль есть наилучшая) и, чаще всего, вместо Белого мы получаем Бальмонта (а то и Северянина). Вы говорите «играть на выигрыш»? Так с кем же, или с чем же идет игра? (чуть не сорвалась с кончика авторучки неизбежная пошлость типа «игры на разрыв аорты»). Хаос, смерть, тьма, энтропия обступают каждого из нас, и каждый умирает в одиночку, как говорят паскудливые преподаватели на экзаменах (ну вот, сорвалось все-таки); здесь не то что на выигрыш, каждая тактическая мелочь, продвижение на метр-другой вперед, героический жест при отступлении: вот все, что дано нам, для-ради подсластить медный привкус страха при мысли о неизбежном поражении. Ничья — это когда... Нет, не так. Что такое ничья? Ничья — это «дерьмо! гвардия умирает, но не сдается» при отсутствии шансов на победу. Каждому из нас дана только одна фраза, поэтому слова надо подбирать особенно тщательно.

2. По поводу одного названия.

**У** Мальро есть книга, замечу, неплохая книга — «Антимемуары». Несмотря на ее бесспорные литературные достоинства, — главное, волнующее в ней, — название. Ведь литература и есть воспоминание о чем-то бывшем или о том, что могло случиться; настоящего времени нет; будущее, вернее, наше представление о нем — тоже прошлое, где перфект поменяли на футурум, или индикатив на конъюнктив. Вся литература, выражаясь неточно, — мемуары. Что же такое «антимемуары»?

Это совсем не «антилитература», уверяю вас; могу сослаться на ту же книгу Мальро. Значит, у французского автора «мемуары» имели несколько иной

смысл: может, более узкий? и более точный? хотя бы такой — «литература, рефлексирующая себя как воспоминание о...» О чем?

Есть такое дурацкое слово в русском языке — «история». Оно почти ничего не значит; его — дебильное, слюнявое, мычащее — трахают во все дыры любые рядомстоящие слова в большинстве клише от «Истории Тома Джонса» до «история повторяется дважды, первый раз как...» и т. д. Только в первом случае оно — нищенка под дождем у портового кабака за два пенса разик; во втором же — пышная дама из «Философии в будуаре». Но, повторяю, оно не значит совсем ничего, кроме анонимного влагалища, куда можно засунуть что угодно: от бутылки «пепси-колы» до бронзового бюста Гегеля. Откажемся же от этого похотливого словца в пользу странного иностранца в напудренном парике, странного иностранца по имени «контекст».

«Ну вот, — скажете Вы — вместо шлюхи подсовывают какого-то барочного педераста!» Но нет, ни в коем случае, дорогой читатель; пусть он странен, зато наверняка не обманет; его понятия о чести затейливы, но тверды. «Контекст» гуще, плотнее «истории»; к тому же не любит учительствовать. Поэтому в любых мемуарах (а значит и литературе) вместо «человека и истории» мы можем выделить «экзистенциальное и контекстуальное», причем (вот таковы странные правила этих карточных фокусов), если можно представить человека без истории и историю без человека (естественно, в той системе координат, в которых эти слова употребляются), то контекстуальное без экзистенциального, и наоборот, представить невозможно. Чистая экзистенция — что-то влажное, темное, мягкое, прерывисто пульсирующее; представить это невозможно: тошнит. Вот Сартр попытался описать ЭТО, и роман назвал «Тошнота», но... не вышло; и не могло выйти. Контекста отдельно не существует также: все равно, что пыльные расписные ширмы, которые сложили и заперли в темный чулан. Их никто не видит и не увидит никогда.

Но, вносят ширмы, протирают их влажной тряпкой, разворачивают, включают софиты и пульсирующее нечто вдруг обрастает телом, речью, камзолом и начинается представление...

Вернемся теперь к Мальро. Так как же «Антимемуары»? Да очень просто. Там есть такая фраза: «свести к минимуму свое участие во вселенской комедии»; и чуть раньше: «До тридцатилетнего возраста я жил среди людей, одержимых откровенностью». Для читателя мемуаров Хрущева это и есть «Антимемуары»; для посвященного — самые что ни на есть Мемуары, то есть Литература. Мальро достаточно разумен, чтобы удержать наше нетрезвое сознание от шатания и в клинически экзистенциальное (одержимость откровенностью), и в занавесочно-контекстуальное (участие во вселенской комедии), или (вспомним одержимого ловца времени) как в направлении Свана, так и в сторону Германтов.

## СПИСОК ОПЕЧАТОК

Стр. 6, 20 строчка сверху: вместо "Ю.М.Лотман" напечатано "Ю.М. Лойтман".

Стр. 52, 7 строчка сверху: пропущено слово "отношение". Следует читать "имеет самое прямое отношение к жизни".

Стр. 56, 7 строчка сверху: вместо "дружкой" напечатано "дужкой".

Мы приносим извинения авторам и читателям  
(не согрешишь - не покаешься; не покаешься - не спасешься!)

**urbi**

ISBN 5-265-02787-4(2)

При содействии издательства «Советский писатель»  
(Санкт-Петербургское отделение)

# ВАГП

ВЕРХНЕВОЛЖСКОЕ  
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ



Россия, 603097, Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205  
Тел. (831-2) 68-65-91, 68-08-04. Телефакс 68-65-91.  
Телетайп 151403 ПЛАН